

Владимир Померанцев.

По царским и сталинским тюрьмам

Пеший этап

Третьего декабря 1941 года утром, после получения очередного пайка хлеба и кружки горячей воды, меня вызвали “с вещами”. От вещей моих за время этапов осталось только драповое пальто, пара белья, три носовых платка, две пары рваных носок. Была еще пуховая подушка, взятая из дома при аресте, но ее оставили на хранение при поступлении в Томскую тюрьму.

Куда отправляют? На этот вопрос, обращенный к конвоирам, последовало грубое: “Там увидите!” Наблюдая, как наряжают конвой, мы поняли, что нас уводят из этой тюрьмы совсем. Я попросил вернуть мне сданную на хранение подушку. Эта просьба не понравилась старшему конвоиру и еще больше не понравилась кладовщику, когда я стал настаивать на возвращении подушки.

— А квитанция есть?

У кладовщика была надежда, что я квитанцию потерял или, вернее, искурил, как это делали большинство арестантов, стараясь сохранить только клочок с номером квитанции. Я еще не успел начать тратить на сигарки квитанцию — табаку не было.

— Вот она!

Кладовщик с пренебрежением выбросил из окна кладовой грязную, маленькую перовую подушку, совсем на мою не похожую.

— Это — не моя подушка! Моя пуховая и большая.

— А будешь еще разговаривать и того не получишь, — и кладовщик захлопнул окно кладовой.

Чтобы не дать мне времени к повторным протестам — еще дежурного потребует! — конвоиры быстро закончили обыск и вывели нас на тюремный двор.

Ни во дворе тюрьмы, ни за воротами “воронка” не было, значит, нас поведут пешком. Куда? Если пойдём налево, значит, на вокзал, на этап по железной дороге. Повернули направо. Куда же? Пройдя несколько кварталов, мы попросили конвоиров идти потише, мы были очень истощены. Окрика не последовало. Конвой пошел тише. Наши изнуренные фигуры, поддерживающие под руку друг друга, желтовато-синие заросшие лица, видно, вызвали жалость у старшего конвоира, и он после трех-четырех кварталов шествия посередине улицы — по уставу — разрешил идти по тротуару: два конвойных впереди, два — позади. Мы даже немного повеселели.

Томск сохранился в моих воспоминаниях далекого детства. Моя семья — отец, мать, я и моя сестра Лида до 1908 года жили в Новониколаевске. В 1904 году сестре исполнилось 8 лет, а мне 4 года. Сестре нужно было поступать в гимназию, а ее в Новониколаевске в те времена не было. Отец решил отправить Лиду в Томск и поместить в частный пансионат. Сестру отправили осенью, а на рождественские каникулы мать со мной поехала проведать Лиду. Томска тех времен я почти совсем не помню. В памяти сохранились смутные впечатления о широких улицах и тротуарах, выстланных каменными плитами. Я шел по этим плитам вприпрыжку. Но хорошо помню радушную встречу, которую нам оказали в пансионате Лиды. И особенно запомнился завтрак. Много девочек, а мальчик я один. Нас усадили за длинный стол. Лида хотела, чтобы я сел рядом с ее

подружками. Но я испугался, и, боясь моего реву, мать посадила меня между собой и Лидой. Запомнился рассыпчатый отварной картофель со сливочным маслом. Были и другие кушанья, но вкус картофеля с маслом сохранился на всю жизнь, и это блюдо стало моим самым любимым.

— Вот хорошо бы сейчас поесть такой картофель, — сказал Иллиминский, которому я тихонько рассказывал дорогой свои томские воспоминания.

— Да-а-а, хорошо бы, даже и без масла, все равно хорошо, лишь бы побольше. А потом я помню, как мы весной ездили с матерью в Томск за Лидой, чтобы взять ее в Новониколаевск на летние каникулы. Запомнилась, собственно, одна подробность — случай в вагоне. На какой-то станции Лида упросила мать купить голову жареного поросенка. Купили, принесли в купе, положили на столик перед открытым окном, оставили меня одного в купе, а сами ушли еще что-то покупать. Я с величайшей неприязнью смотрел на эту сморщенную жареную голову. И чем больше смотрел, тем отвратительнее она мне казалась. Наконец, я не вытерпел и выбросил ее в окно. Пришли мать и Лида, поезд тронулся, хватились поросенчьей головы, а ее нет. Переполох. Я вынужден был сознаться в своей расправе. Мне крепко досталось. Я помню, что долго ревел и успокоился только общим прощением и ягодами со сливками...

И вот через много-много лет меня ведут арестантом по томским улицам. Было морозно, вероятно, не меньше 20 градусов, но сухой сибирский мороз не вызывал дрожи, да еще на ходу, хотя мы были очень слабы. Пошли по какой-то окраине, перешли пустырь и потом опять улица. Двухэтажный купеческий особняк и вышки по углам двора, обнесенного высокой крепкой оградой с колючей проволокой по верху. Проходная. Мы уже немного подозябли и с удовольствием топтались, согреваясь в

большой проходной комнате, видимо, недавно сложенной из кирпича. Старший конвоя ушел в соседнюю комнату и вел там какие-то переговоры. Наконец переговоры кончились, из соседней комнаты вместе со старшим конвоя вышли новые надзиратели, которым нас и передали. Конвой томской тюрьмы поспешил уходить, бросив в нашу сторону чуть ли не добродушно:

— Счастливо оставаться!

Спецтюрьма. Громовержец. Баня

Нас вывели во двор и повели в другое, не главное, которое было видно с улицы, но тоже двухэтажное здание. На втором этаже нам приказали сесть в комнате, которая по всем признакам была приемной. В комнате стояло два стола. За одним сидела машинистка и печатала. Она раза два взглянула на нас и, мне показалось, брезгливо поморщилась. Да и не удивительно. Вид у нас был ужасный: на мне грязное, истаскавшееся по цементным полам тюремных камер пальто. Шляпа, когда-то бежевая, теперь имела неопределенный цвет, грязный и помятый вид. Не лучше был одет и Иллиминский. Его в прошлом лихая морская кепка теперь была жалким блином, а пальто из черного превратилось в пятнистое с обтрепанными рукавами и подолом. О лицах наших и говорить не стоило — они были ужасны. Вероятно, и запах от нас шел соответствующий. Другой стол был занят военным в форме, судя по кубикам на петлицах — лейтенантом. По звонку из кабинета он ушел, и его долго не было. Дверь в кабинет, обитая дерматином, была с большим тамбуром, значит, двойная. Машинистка вышла, оставив нас двоих, и мы мельком обменялись мнениями.

Зачем нас сюда привели? На продолжение следствия? Так почему не в Большой Дом? Эти Большие Дома во всех городах специфичны. Дом, в котором мы сейчас

находились, не походил на Большой Дом. Да и зачем продолжать следствие в Томске, к которому Иллиминский не имел никакого отношения, а я последний раз был здесь двенадцать или тринадцать лет тому назад? Я начал догадываться. Здесь, в Томске, жил и работал профессор Галахов. Его в 1937 году арестовали. И он как в воду канул. Я знал Галахова, он был учеником Петра Константиновича Соболевского из старшего поколения; я — ученик младшего поколения. Встречал Галахова и у Соболевского, на совещаниях и конференциях. Я всегда восторгался его эlegantностью. Высокий, в меру худой, всегда хорошо одетый, с приятным умным лицом, приветливый и остроумный, он был контрастом толстому, взъерошенному, всегда перепачканному мелом Соболевскому. Но этот контраст только в большей мере подчеркивал преданность, я бы даже сказал любовь, Галахова к своему учителю. Он иногда открыто, вслух восторгался Соболевским, особенно когда слышал от него какую-нибудь научно-техническую новость, им придуманную.

— Ну и Петро, ай да Петро! — басил Галахов, восхищенно глядя на своего учителя. Он, проработавший под руководством Соболевского свыше десяти лет, часто обнаруживал, что во многом еще не знает своего учителя. Соболевский всегда поражал всех своей многосторонней эрудицией. Он был математик и горный инженер, астроном и геодезист, знаток точных инструментов и музыкант. Когда Соболевский переехал из Томского института в Свердловский, он считал, что в Томске им оставлена маркшейдерская кафедра в надежных руках своего лучшего ученика Галахова. И вот в 1937 году ураган прошел и по политическим, и по научным, и по учебным установлениям и институтам, прошел и по высшим маркшейдерским силам в Союзе: почти одновременно были арестованы профессора Гутт в Москве, Бухиник — в Днепропетровске, Галахов — в

Томске. За что? Даже шепотом никто не мог ответить на этот вопрос. Враги народа, и все.

В те времена мне казалось, что для предотвращения любого преступления необходимо широко оповещать население о содержании преступления и о каре, за него положенной. Если нельзя об этом сказать в открытой печати, то скажите в установленном секретном порядке. Все маркшейдеры, как правило, допущены к секретной и совершенно секретной работе. Так что можно было вызвать в спецчасть по месту работы и сообщить, в чем заключалась вражеская деятельность Галахова, Гутта, Бухиника и других арестованных. Нет, никаких разъяснений мы не получили, и это вызвало неприятное недоумение. Теперь мы сидели в приемной какого-то высокого начальства госбезопасности, и я решил, что либо Галахов упомянул на следствии мою фамилию, либо от меня потребуют сведения о Галахове. Ничего плохого я не мог сказать о нем. Но хорошее не нравится следователям, им подавай подтверждение справедливости их решения — Галахов враг народа, значит, и все сведения о нем должны быть его порочащими. Выходит, меня опять ждут пытки... Я поделился с Иллиминским своими мрачными предположениями.

— А я при чем тут? — возразил Иллиминский. — Вы ошибаетесь. Раз мы здесь вместе, значит, нас сюда доставили по общим для обоих вопросам. Общие вопросы — это совместная разработка ваших военных предложений.

— Вашими бы устами да мед пить...

В этот момент открылась дверь из кабинета, и лейтенант-адъютант, что ли? — пригласил заходить. Впустив нас в кабинет, адъютант вышел, закрыв за собой дверь.

В глубине большого светлого кабинета у окна за большим столом, уставленным витиеватыми бронзовыми чернильными приборами, сидел величественный военный с ромбом в петлице. Он, откинувшись назад, строго и пытливо смотрел на нас. После нескольких мгновений тягостного для нас молчания последовало:

— Садитесь... да не там, а ближе, к столу! Ну, кто вы такие? И сам себе ответил:

— Изобретатели? Ну, вот вам тут у меня... — именно так и сказал собственнически, чуть не по-купчески, что ассоциировалось с первым впечатлением о купеческом особняке.

— ...Ну, вот вам тут у меня все будет предоставлено, чтобы вы смогли написать... (Почему не описать?)

— ...ваше изобретение. Если будет толковое, то и вам будет неплохо. Но смотрите у меня, чтобы ни-ни!

Это “ни-ни” было так выразительно, что не требовало ни разъяснений, ни продолжения. Было ясно, что в случае чего он нас в бараний рог согнет, в порошок сотрет. Величественный нажим звонка и кивок адъютанту:

— Вымыть, накормить и поместить в угловую.

Нас повели в баню. Но самое сильное впечатление осталось у нас не от зевсоподобного приема, не от загадочного “вам будет предоставлено”, не от ожидания бани, но от **НАКОРМИТЬ!**

На дворе мы увидели десятка два человек, одетых в гражданские пальто и шубы, которые прогуливались по кругу. Они вели себя свободно, не гуськом, без рук за спиной, но шли то поодиночке, то группами. В стороне стоял тюремный надзиратель, который как будто и не наблюдал за гуляющими. Когда нас увидели, то почти все

остановились и начали с интересом рассматривать. Надзиратель сделал предостерегающий жест, чтобы к нам не подходили. Гуляющие не стали приближаться и даже возобновили прогулку, непрерывно оглядываясь, пока нас вели к бане.

В глубине двора стояла уже подлинно купеческая баня: одноэтажная, бревенчатая, с сенями, предбанником с лавками по стенам, с просторной мыльней, в которой у каменки высился трехступенчатый парной полок. Полки, лавки, стены — все было чисто вымыто, выскоблено даже. Все вещи у нас забрали и унесли для дезинфекции. Выдали по рогожной мочалке и хорошему куску настоящего крепкого ядреного мыла, а не того, которое расплывается в скользкую слизь при первом соприкосновении с водой, как это бывало в других тюрьмах. Главное — мы были одни. Одни в огромной — так нам показалось в первый раз — мыльной с горячей водой, чистым бачком и не одним.

Ну и побанились же мы! Первый раз после ареста за пять месяцев мылись, споласкивались, опять намыливались, терли друг другу спины, отдыхали и опять намыливались. Сидя с ногами в горячей воде, мы перекинулись первыми впечатлениями: куда мы попали? Что это за арестанты, прогуливавшиеся по двору? Арестанты, потому что ходили во дворе по кругу и под наблюдением тюремного надзирателя, стоявшего в стороне. Но это какие-то вольноотпущенные арестанты — ходят, не закладывая рук за спину, и не только поодиночке, но и парами и даже по трое, чисто одетые, свежие, бритые. Кто такие?

— А этот зевсоподобный начальник как вам понравился?

— Сатрап и деспот. И, видно, не особенно интеллигентен: “вот вам тут у меня”, — что за оборот речи?

В мыльную заглянул надзиратель. Мы сразу, по-заячьи, заторопились.

— Сейчас, сейчас, кончаем...

— Да мойтесь себе на здоровье. Вы на полок бы забрались да попарились, — спокойно сказал надзиратель и опять закрыл дверь в мыльную.

Мы переглянулись:

— Скажите пожалуйста! Какой прием! Но на полок не полезли: я никогда не любил париться, а Иллиминский хоть и любил, но нетерпение узнать, что же значит — НАКОРМИТЬ! — ускорило мытье.

В предбаннике лежало наше, но совершенно незнаваемое белье — чистое, чуть ли не выглаженное. Да и выдавшие виды костюмы и пальто также выглядели прилично. Эти чудеса совершились, пока мы мылись.

— Вот это да... — почти одновременно сказали мы друг другу, покосившись на надзирателя, сидевшего у дверей и не обращавшего на нас внимания.

Настоящий обед

Из бани нас повели в столовую. Она помещалась тут же на дворе, как и баня, в отдельном одноэтажном строении. На дворе прогуливавшихся уже не было. Мы вошли в небольшую переднюю, где разделись и оставили свои вещи. Пока раздевались, успели шепотом переговорить между собой:

— А как же с хлебом, который мы получили утром в городской тюрьме? У вас он в чем?

— В платке...

— Ну, и у меня в платке. Возьмем хлеб с собой в столовую.

Отворили двери, и на нас прежде всего пахло настоящей человеческой едой. Такого запаха пищи мы не слышали с ухода — или, вернее, с увода из дома. Все эти месяцы скитания по тюрьмам и железнодорожным этапам от Ленинграда до Мариинска и от Мариинска до Томска росла вонь арестантской пищи, развалившаяся от гниения “тюлька”, пахнувшая нефтью или плесенью вода в эшелоне, осклизлые листья капусты — “хряпы”, мутная жижа баланды, жидкие каши из плохо промытой крупы — вот что нас сопровождало на скорбном пути. У забитых и истощенных арестантов каждое ухудшение пищи вызывало не протест, а желание восполнить большим количеством, да воспоминания о более хорошей баланде или каше. В запломбированном эшелоне мы с умилением вспоминали пищу ленинградской следственной тюрьмы. Та самая баланда, которую я с неделю не мог в рот взять после ареста, теперь вспоминалась чуть ли не деликатесом. А о ленинградских кашах можно было только мечтать. И в этих мечтах мы давали друг другу клятву до конца дней своих помнить арестантскую пищу. После освобождения — в каждый арестант твердо верил в это — в память о дне ареста будем просить своих жен готовить нам тюремную баланду и кашу.

Спасала арестанта от голодной смерти пайка, “птюха” хлеба. Как бы иронически ни называли арестанты свой хлебный паек, но хлеб, простой ржаной хлеб, конечно, Бог весть с какими примесями, оставался хлебушком. Всякий он бывал и по составу, и по вкусу, но всегда оставался нашим основным питанием, нашим спасением от смерти и связью с нашим крестьянским народом.

В большой просторной комнате, куда мы вошли, стояло столов двадцать, покрытых клеенками. Около каждого стола стояло четыре стула. На столешницах стояли судки

с солью, горчицей и перцем. Столовая отгораживалась от кухни перегородкой с широким окном для раздачи пищи. В окно было видно, что кухня содержалась в чистоте. Там работали женщины. По их лицам сразу можно было сказать, что это вольнонаемные, а не арестантки.

Мы сели за первый же столик около дверей, но нас попросили пересесть ближе к раздаточному окну.

— Тут теплее, — со смешком сказала одна из женщин.

Нам принесли по полной миске щей с капустой — не с “хряпой”, а с настоящей капустой, картошкой и даже с кусочком мяса. Щи были подернуты хорошим домашним наваром. К щам дали по куску хлеба, почти равного дневному арестантскому пайку. Как же быть? Ведь мы уже получили еще утром свой дневной паек. Они, вероятно, не знают, что мы получили... Можно ли брать? Возьмем, а потом они узнают, что мы уже получили и нас обвинят в воровстве? Ведь у нас еще осталось по две трети от утреннего пайка. Тюремный надзиратель сидел далеко от нас и мы, косясь на него, перешептывались, решали моральную проблему о допустимости воровства хлеба. Мы сидели перед дымящимися мисками со щами и душевно мучались.

— Что же вы не едите? — опять со смешком в голосе сказала миловидная подавальщица из раздаточного окна. Мы переглянулись: вот тут бы и сказать по честному: “Нам ошибочно дали вторую пайку хлеба”. Нет, голод пересилил чувство чести. Мы сказали только:

— Щи горячие! — и начали их есть. Боже мой, я в жизни ничего не ел вкуснее! Мы хлебали щи, откусывая маленькие кусочки хлеба — нет, не своего, завязанного в платки, еще мокрые от стирки, а от “украденного”. Откусывали маленькие куски, чтобы больше хлеба осталось, если потребуют для возврата. Значит, совесть

еще оставалась пропорционально остающемуся “чужому” хлебу!

Щи кончили. Корочкой зачистили миски так, что их можно было бы и не мыть. Корочки съели. После бани, разомлевшие, согревшиеся жирными НАСТОЯЩИМИ щами, мы блаженствовали и не хотелось никуда двигаться. Но что это? Нам несут по две полные миски пшенной каши! Наш вид, видимо, был настолько растерян, что подавальщица улыбнулась и сказала ободряюще:

— Ешьте, ешьте, если надо — добавку дам! Пшенная каша с настоящим коровьим маслом в углубленьице наверху. Мы посмотрели друг на друга и, кажется, я заплакал...

Мы добросовестно съели все и зализали и миски, и ложки. Добавки не просили. Под конец обеда мелькнула мысль: мы объелись и будет плохо... Ну, а хлеб? Оставшийся хлеб возьмем с собой и, если до утра не потребуют обратно, то завтра съедим. Вот покурить бы сейчас. Подошел надзиратель:

— Поели?

— Да... вот покурить бы сейчас... — осмелился я. И как я себя клял потом за это нищенское — “вот покурить бы”!

— Сейчас пойдем “на корпус”, там, у “ваших” и покурите и папирос, и сигарет, ну, пошли!

Мы горячо поблагодарили, выглядывавших из раздаточного окна улыбающихся женщин и, собрав свои пожитки, поплелись за надзирателем.

Мы — сенсация

Теперь нас ввели в главный корпус — тот самый купеческий особняк, как я окрестил его при первом взгляде с улицы. Да, действительно, до революции это был купеческий особняк с огромными комнатами, теперь частично переделанными в арестантские камеры. По широкой лестнице вестибюля нас провели на второй этаж и впустили в “угловую” камеру, назначенную начальником тюрьмы. Дверь за нами без тюремного лязга закрылась на ключ.

В большой просторной комнате квадратов на тридцать помещалось четыре человека.

— Будем знакомиться, — к нам, робко жавшимся у дверей, подошел невысокий коренастый человек. — Иконников, а это такие же, как и я, конструкторы — Мамкин и Борисов, а это — профессор Бурсиан.

У меня мелькнула мысль: “Бурсиан? Исчезнувший Бурсиан?” Да это был он — основоположник русской геофизики.

— Откуда вы? Когда арестованы? Статьи? Сроки?

И когда узнали, что мы из Ленинграда, что арестованы только в начале войны, что еще в июле ходили свободными по Ленинграду, нас немедленно засыпали тысячами вопросов. А узнав, что мы курим и что не курили уже с неделю, нас завалили и папиросами “Казбек”, и сигаретами, и махоркой, и спичками, и курительной бумагой...

— Рассказывайте только, рассказывайте, пожалуйста...

— О чем?

— Да обо всем, ведь мы не видели воли — вот он четыре года, я — пять лет, Мамкин (так Иконников по-панибратски называл Мамина) — три года, Бурсиан — шесть лет... Нет, вы подумайте только! Они были на воле шесть месяцев тому назад, не шесть лет, а шесть месяцев! — восклицали наши новые знакомые. — Нас здесь 79 человек, и все из Ленинграда, и все уже многие годы не видели воли, и вы первые, кто так недавно там был. Ну, рассказывайте же!

Когда повели на ужин, то уже вся спецтюрьма знала о нашем прибытии. Мы стали сенсацией. После ужина арестантов не сразу запирали по камерам. Мы могли бродить по коридорам, заходили в рабочие помещения, и где бы ни появлялись, нас тотчас хватали, буквально тащили куда-нибудь в угол, или усаживали на стол, чтобы всем было видно, и расспрашивали без конца...

Что мы могли рассказать? Свои впечатления и предположения? Нет. Из чувства самосохранения — кто они, эти новые знакомые? — мы старались придерживаться проверенных фактов: состояние фронта на день нашего ареста, оборонные работы под Ленинградом, карточная система питания, немецкие налеты пока без бомбежки. Из разговоров выяснилось, что арестанты спецтюрьмы ежедневно проводят коллективные читки “Правды” и по общему положению дел в стране и на фронте более осведомлены, чем мы. Конечно, их интересовало количество арестованных, хотя бы по заполненности тюремных камер, статьи, по которым обвиняют арестованных, методы следствия, тюремное питание. На эти вопросы мы отвечали с большой осторожностью, но не рисуя обстановку в розовом свете. Наши новые знакомые хорошо знали, что каждый опытный арестант не будет многое говорить в присутствии многих. Поэтому нас начали расспрашивать один на один. При таких разговорах можно было

относительно легко отличить искренние вопросы без задней мысли от провокаций. На искренние вопросы мы отвечали с такой же искренностью. Но были случаи разговоров с проверочной целью. Особенно часто старались местные доносчики — “стукачи”, как их называли арестанты, заводить разговоры с Иллиминским. Он с виду казался более простодушным, чем я. Но, судя по рассказам Иллиминского об этих разговорах, “стукачам” ничем поживиться не удалось.

Общее отношение к нам “окабешников” — так называли себя арестанты спецтюрьмы — было вполне благожелательным. Нас жалели, угощали, снабжали табаком и сигаретами, платья наши вычистили, нашлись добровольные портные, которые починили наши пальто и костюмы, подстригли, побрили, а мне даже оставили бороду — а-ля-рюсс. Ну, а все-таки, почему же “окабешники”? Официально спецтюрьма была не тюрьмой, а особым конструкторским бюро — ОКБ, отсюда и сотрудники — окабешники.

На второй или третий день нас опять вызвали к начальнику тюрьмы и снова разговор был кратким и выразительным:

— Вы у меня там — ни-ни, без параш... поняли? А то я верну вас к настоящей параше. Идите.

Значит, на нас все-таки кто-то “стукнул”, донес. Но донос, видимо, был настолько невинен, что начальник ограничился повторением грозного предостережения. Мы уже хорошо знали, что такое параша и в прямом, и в переносном смысле слова. Но оснований для возврата к настоящей параше мы не давали. Да и наши нескончаемые слушатели сами понимали, насколько арестанту нужно быть осторожным. Они все прошли страшные огонь и воду ежовских застенков и дорожили “арестантским раем”.

Да, это была золотая клетка, арестантский рай и особенно для нас, чудом поднявшихся со дна кровавой барки № 64 и переживших запломбированный эшелон Званка — Мариинск.

Спецконтингент

Все-таки, что это была за спецтюрьма? Отличалась она особым порядком содержания арестантов. Тюрьма, в которую мы попали, представляла собой секретное конструкторское бюро, разрабатывавшее артиллерийское вооружение. Позднее мы узнали, что существовали такие же тюрьмы-бюро по взрывчатым веществам, авиации, строительству рудников и, надо полагать, по многим другим назначениям.

Находились эти спецтюрьмы в ведении особого отдела комитета государственной безопасности, принимавшего различные наименования: ГПК, НКВД, МВД и т. п. Этот отдел состоял в тесном контакте со следственными органами и тюрьмами, тюрьмами общего назначения и, так называемыми, исправительно-трудовыми лагерями. Так или иначе, этот особый отдел имел широкие возможности комплектовать свои особые бюро нужными ему специалистами в зависимости от задач, которые ставились высшими органами, творившими и высокую партийную, и хозяйственную, и даже научную политику в стране в целом. Можно предполагать, что с приходом к власти Берии во имя утверждения своего могущества и влияния на Сталина он формировал специальные бюро по любым вопросам, для решения которых привлекались специалисты и ученые любых направлений. Это “привлечение” означало попросту сначала измышление очередного вредительства, измены, словом контрреволюционных замыслов, потом арест, иногда судебный процесс с вынесением смертных приговоров и с последующей милостивой заменой смертной казни десятью, пятнадцатью годами содержания в ближних,

удаленных, дальних, повышенного или особо строгого режима лагерях. Конечно, арестант, хвативший горького до слез на следствии, этапах, в тюрьмах и лагерях, был рад-радешенек попасть в спецтюрьму, в этот подлинный (но и подлый, конечно) арестантский рай.

Здесь, прежде всего, арестанта отхаживали физически и до известной степени душевно. В спецтюрьмах была вполне удовлетворительно и даже хорошо поставлена медицинская служба. Арестантов периодически и детально освидетельствовали, если нужно, с применением всех современных методов диагностики; назначали, проводили необходимые курсы лечения, делали протезы и ножные, и ручные, и зубные; устанавливали нормы и диеты питания. Арестантские пайки в спецтюрьмах были сказочно богатые даже для высокооплачиваемого специалиста мирного времени, а про военное время и говорить не приходится. Для поощрения и поддержания субординации среди арестантов вводились дифференцированные “столы” в нисходящем порядке: первый, второй, третий и четвертый. Но были и сверхпервые столы, нулевые, что ли. Удостоенные такого ресторанного питания спецарестанты получали право заказывать меню по своему желанию. Правда, тут же стоит отметить, что на такой высокий “стол” забирались такие замученные гастритами и язвами желудка спецы, что им, по существу, кроме простокваши ничего и не требовалось.

Эта система дифференцированного питания давала неоспоримый эффект: она, прежде всего, развращала арестантов, а этого и требовалось творцам спецтюрьмы. Когда интеллигенты, будь они трижды семь раз зайцами, находятся в равных условиях заключения, то именно это состояние равенства вызывает, воспитывает и укрепляет чувство равенства и солидарности. А чувство равенства тотчас вызывает внутренний протест против видимого и

самого ближайшего неравенства — условий жизни, питания, поведения охранителей порядка, начиная от тюремного надзирателя и кончая высокопоставленным чином из московского особого отдела. Внутренний протест быстро перерастает из кукиша в кармане к “предерзостному” поведению, а там и до бунта недалеко. Когда же арестантская масса дифференцирована по самому отвратительному, но безошибочно действующему желудочному признаку, то все ее внутренние раздражения и недовольства своим рабским состоянием обращаются не во вне, а внутрь на таких же арестантов.

Дифференцированные столы даром не давались: начальство тщательно следило за соответствием “стола” усердию арестанта. Это усердие требовалось не только в работе, но и в поведении, в чинопочитании и своих “вышестоящих” арестантов-начальников, и, тем более, подлинных небожителей. Конечно, в усилении этого разврата немалую роль играл оперуполномоченный, следивший за политико-моральным состоянием арестантов с помощью разветвленной сети “стукачей” и “подсадок”. Эти почетные роли, конечно, награждались соответствующим столом.

Условия содержания спецконтингента — так по особому отделу значились арестанты спецтюрем — были не из блестящих, но несравненно лучше любой тюрьмы общего назначения. Как правило, арестанты размещались в больших, светлых камерах, на железных койках с матрацем, набитым мочалом, с перовой подушкой, простыней и байковым одеялом. В камерах помещалось 20-50 человек; для высококвалифицированных заключенных выделялись небольшие камеры на 5-10 человек. В камерах соблюдалась чистота силами уборщиков из уголовных арестантов. Скученности в камерах не наблюдалось уже только потому, что в них арестанты практически только ночевали. Подавляющую

часть суток арестанты проводили в рабочих помещениях. Даже после окончания рабочего дня в 8, а иногда и в 11 часов вечера арестанты старались оставаться в рабочих помещениях до их закрытия и опечатывания.

Если порядок питания спецконтингента был морально отвратительным, то условия работы были нормальными. Даже чрезмерная продолжительность рабочего дня по 10-12 часов в день воспринималась без протеста. Работа, особенно по своей специальности или близкая к ней, была спасительным средством арестантов от духовного разложения. При спецбюро всегда имелись довольно значительные библиотеки, составленные большею частью из конфискованных книг осужденных. Библиотеки систематически пополнялись обширной текущей отечественной и зарубежной литературой и журналистикой. Когда мы вторично попали в Томскую спецтюрьму и вместе с ней вернулись через Пермь в Ленинград, где был восстановлен в значительной части порядок этого спецбюро, то для заключенных специалистов довольно быстро доставалась практически любая специальная литература из фундаментальных библиотек Москвы и Ленинграда, регулярно получались военные английские и американские журналы, даже фашистские, доставлявшиеся через нейтральные страны. Иностранные журналы попадали в бюро с полугодовым, не больше, опозданием. Нередко они не подвергались цензуре, и заключенные были информированы по военным и политическим вопросам значительно полнее, чем рядовые специалисты и ученые, находившиеся на воле. В одном, например, сообщалось, что Германия напала на Советский Союз с соблюдением международного права объявления войны, предъявив ультиматум, в котором требовала: передать под контроль Германии всю Украину, демобилизовать Красную Армию и согласиться на технический контроль Германии над тяжелой промышленностью и транспортом всего

Советского Союза. Конечно, от того, что был предъявлен ультиматум, не уменьшается коварство и вероломство фашистской Германии, но если ультиматум был правдой, то зачем было скрывать его от советских граждан?

Спецтюрьмы отличались от общих тюрем особыми порядками тюремного надзора. В общих тюрьмах арестанты целиком и полностью находились в ведении тюремного надзора; в спецтюрьмах был двойной надзор: над работой заключенных и над их поведением и бытом после работы. С приходом на рабочее место заключенный становился в подчинение иерархии спецбюро бригадиров, руководителей групп, начальников отделов и начальника бюро. Бригадиры и начальники групп, как правило, назначались из среды заключенных, начальниками же отделов являлись офицеры госбезопасности с инженерным образованием. Общий порядок в рабочих залах наблюдали тюремные надзиратели, они становились полновластными начальниками над заключенными после окончания работ бюро. Во время нахождения заключенных в бюро тюремные надзиратели не имели права вмешиваться в распорядок работы, и тем более в существо самой работы арестантов. Однажды, в конце моего пребывания в ленинградской спецтюрьме, именованной ОКБ-172, я воспользовался запретом тюремным надзирателям вникать в работу заключенного.

Мой стол стоял в проходе, что мешало сосредоточиться, но зато можно было заранее наблюдать за приближающимися ко мне. Если к моему столу шел заключенный, чтобы пройти мимо, то я без опаски продолжал заниматься своим делом. Это “дело” иногда было довольно противозаконным — я вел заметки о советских тюрьмах. Проходящий арестант по установившейся традиции не заглядывал в работу другого, если не был связан с ним в порядке

субординации. Если же ко мне приближался начальник отдела — офицер, то я знал, что для них арестантский закон не писан, могут в любой момент проверить существо моей работы. И если бы меня застали за тюремным дневником, то мне бы крепко не поздоровилось. Когда же шел тюремный надзиратель, я мог не опасаться, зная, что ему запрещено вникать в суть моей работы.

И вот однажды нашелся надзиратель, который подошел к моему столу во время моих философских упражнений о праве и свободе и стал с любопытством разглядывать мой бисерный почерк. Такой почерк был мной выработан для экономии бумаги и для придания дневнику минимальных размеров. Я переписывал в тюремный дневник свои мысли, которые если и относились к спецтюрьме, то только с отрицательной точки зрения. Менять дневник на расчетные записи по баллистике в присутствии надзирателя было бы равносильно признанию за собой какой-то вины. Я поступил иначе: встал и попросил надзирателя отойти от стола, так как тюремному надзору запрещено знакомиться с содержанием спецработ. Надзиратель пытался что-то возражать, но я, повысив голос, еще раз указал на незаконность его поведения. Соседние заключенные немедленно обратились в мою сторону и, конечно, тотчас встали на защиту. Это надзиратель понял и поспешно ретировался. Я дня три ожидал вызова к оперуполномоченному, но, по-видимому, надзиратель счел разумным не затевать истории.

На почве разграничения прав надзора за заключенными между тюремным надзором и начальством спецбюро всегда происходили трения. Тюремное ведомство старалось захватить в свои руки руководство спецбюро, и когда отсутствовал представитель московского особого отдела госбезопасности, этот захват осуществлялся

явочным порядком. Так было в те времена, когда мы с Иллиминским впервые появились в Томской спецтюрьме.

Бюро, в котором мы оказались, было эвакуировано из Ленинграда в начале войны сначала в Казань, а потом в Томск. До войны оно было очень большим по составу, но перед эвакуацией произвели генеральную чистку, оставив только высококвалифицированных специалистов с минимумом вспомогательных работников, а остальных разослали по лагерям. Из-за поспешной эвакуации и неорганизованности переездов многое из имущества было растеряно, и в Томске бюро только в конце ноября, дней за десять до нашего появления, начало работать. Все прежние задания были приостановлены, и спецруководители из самих арестантов начали в порядке личной инициативы разрабатывать так называемые аван-проекты, или эскизные проекты.

Мы с Иллиминским получили нужные чертежные инструменты, кое-какие справочники и расположились работать в той же камере, где и жили, — так распорядилось тюремное начальство, по-видимому, придавая особую секретность нашим военным предложениям. Но прежде чем приступить к работе, нас тщательно обследовал военный врач и назначил усиленное питание. От этого питания мы на второй же день так расстроили себе желудки, что нас уложили в постель. Принятыми медицинскими мерами дизентерия была приостановлена, а мы еще долго с опаской съедали половину пайка, который нам ежедневно устанавливали на специально отведенном столе в арестантской столовой.

По установившимся порядкам в спецбюро для соблюдения секретности никто из заключенных не интересовался нашими разработками, как и мы не проявляли любопытства к чертежам на досках с чертежными машинами. Но когда у нас возникала

необходимость в консультации, то нам ее охотно давали. Два человека были полностью осведомлены о наших предложениях: профессор Бурсиан, руководивший всеми расчетными работами в бюро, и генерал (бывший, конечно, генерал) Беркалов, руководивший разработкой аван-проектов.

Бурсиан, один из основоположников русской геофизики, долгие годы томился в тюрьме, да и умер в ней после окончания войны. В спецбюро Бурсиан стал специалистом по всем видам расчетов от баллистики до механики, необходимых при проектировании артиллерийского вооружения. Высокий, худой, слегка сутулый старик с продолговатым морщинистым лицом, отвислыми щеками, высоким лбом, близорукими бегающими маленькими глазками, редящими седыми волосами на голове, глуховатый, с походкой мелкими шажками, всегда устремленной вперед. При разговоре он не смотрел на собеседника, устремив взгляд куда-то вдаль, слушал, приложив к уху трубочкой ладонь и собрав губы сердечком. С чрезвычайной немецкой аккуратностью во всем, вежливый и трусливый, Бурсиан относился к нам с любопытством, но без благожелательности. Он выслушивал наши вопросы, тотчас обстоятельно отвечал на них, ни не проявлял готовности помочь в разработке наших предложений по существу.

Беркалов — небольшого роста, худощавый, но не худой, с отличной военной выправкой старик. “Самый молодой генерал царской армии” — так обычно его начинали рекомендовать новым “сокабешникам”. Беркалов был крупным специалистом и изобретателем по сверхдальнобойной стрельбе. В разговоре он, слегка улыбаясь, бесцеремонно разглядывал своего собеседника. Казалось, он говорил:

— Ну, ладно, ладно, знаем мы все эти штучки-дрючки, а ты по существу расскажи о себе, что ты за человек. Что? Уже ссучился? Или нет еще?

Когда мы с Иллиминским приходили к нему за консультацией, он, прежде всего, угощал хорошими папиросами, потом расспрашивал о наших дотюремных специальностях и только уж после трехкратной попытки изложить ему наши предложения, он, доброжелательно посмеиваясь, говорил:

— Ну, ну, что это вы предлагаете? Дальномер? Очень хорошо. Даже если он ничего не будет мерить, то все равно будет все очень хорошо. Главное — не вещь, а идея, стремление, живой огонек в душе, а все остальное приложится, так, кажется, Толстой говорил. Нет? Ну, все равно, я так говорю.

Через месяц мы закончили наш проект-схему. Побеседовали о проекте с Бурсианом и с Беркаловым. Первый написал неопределенно положительную рецензию, второй кратко изложил свое мнение о желательности продолжать разработку идей авторов.

На наши вопросы к авторитетным окабешникам — к тюремному начальству мы не смели обращаться, — что будут делать с нашими предложениями и с нами, мы получали довольно согласованные ответы: предложения отправят в “вышестоящие” инстанции для заключения, а наша судьба в руках Всевышнего: может, оставят при бюро, а может быть, и “спишут”. Оставалось ждать решения судьбы. А пока нам рекомендовали испытать свои силы в различных видах конструкторских работ. Иллиминский — отличный конструктор и рисовальщик — был положительно оценен руководителями проектов и начал помогать в разработке одного аван-проекта. Со мной дело было сложнее. Я не конструктор и в качестве конструктора не мог быть использован. Но у меня были

кое-какие вычислительные способности, и я нашел себе место в расчетном отделе Бурсиана. Нам заявили, да мы и сами понимали, что наши работы в бюро носят временный характер, так как все зависит от высшего начальства в Москве: быть зачисленным в спецбюро не так просто.

Психология

Описания арестантских увлечений ручными ремеслами, цветоводством, политикой, историей и даже философией могут создать впечатление о значительном свободном времени для размышлений, бесед и личных занятий, имевшемся в распоряжении заключенных. Нет, этого не было, да и быть не могло по замыслам устроителей “арестантского рая” или “золотой клетки”, как иногда называли спецтюрьмы. Заключенный, прежде всего, должен был непрерывно сознавать и ощущать свое бесправное и изолированное состояние. На фоне этого рабского состояния ему предоставлялась возможность облегчить свою участь работой по специальности или близкой к ней. По идее предполагалось, что от степени усердия арестанта зависела степень облегчения, но не освобождения. Попавшие в “золотую клетку” должны были знать или догадываться, что выхода из клетки нет. Даже если будут освобождены за свое большое усердие, то освобождение будет означать пожизненную ссылку либо прикрепление к “золотой клетке”, но уже с другой ее стороны. Свободы распоряжаться своей судьбой арестант лишался навсегда.

Непрерывность этого состояния, прежде всего, поддерживалась режимом рабочего дня. В военное время продолжительность работы в бюро, не считая перерывов на принятие пищи, составляла 11 часов. После окончания войны была отменена вечерняя работа, и рабочий день стал девятичасовым. По воскресеньям, как правило, работы в бюро не было. Вот этими воскресеньями и

временем ежедневных прогулок — утром, в обед и вечером — и пользовались арестанты для своих личных занятий мастерством или умствованиями. Конечно, и в рабочее время иногда удавалось вырывать часок-другой для своих личных дел, но для этого нужно было обладать искусством “темнить”, уметь делать вид, что ты работаешь, не снижая ожидаемых от тебя начальством результатов.

Трудовая дисциплина поддерживалась тюремными надзирателями, следившими за выполнением распорядка дня, а внутри бюро — офицерами госбезопасности и системой начальников из арестантов. Офицеры занимали должности руководителей отделов, подчинявшихся заместителю начальника и начальнику бюро, имевшим чин подполковника и полковника. Каждый отдел состоял из групп, последние разбивались на бригады. Во главе ставились соответствующей квалификации арестанты.

Подобные бюро-спецтюрьмы, именовавшиеся особыми конструкторскими или особыми техническими бюро, управлялись особым отделом НКВД или МВД. Каждому бюро назначался производственный план, который развертывался по отделам, группам и бригадам. Словом, по производственной деятельности эти бюро по форме ничем не отличались от таких же бюро в промышленности или военном ведомстве.

В чем же дело? Какие претензии можно было предъявлять и к продолжительности рабочего дня, и, тем более, к организации работ? Не забудьте, что шла война. И на войне, и в тылу приходилось во много раз хуже жить и питаться, чем арестантам. Да и продолжительность рабочего дня была не меньше: многие в тылу неделями не выходили с заводов, там работали, ели и спали. Я уже рассказывал о случаях, когда “доходяги”, попав в тюрьму, начинали поправляться и принимать человеческий образ. И многие на воле, сравнивая свои домашние заботы,

мучения с транспортом на работу и с работы, голод, изнурительный труд, страх смерти от бомбардировок, сравнивая все это с положением арестантов, обеспеченных охраной, едой, пусть плохой, но постоянной едой, “свободных от страхов войны”, не без основания говорили: “спрятались, отсиживаетесь от войны” и даже, может быть, завидовали арестантам.

Но достаточно было “вольняшке” оказаться под угрозой ареста или даже только подумать о возможности ареста, например, в связи с арестом мужа или брата, как всякая зависть к арестантскому житью пропадала, и кроме ужаса перед такой возможностью в душе “вольняшки” ничего не оставалось. Что угодно — тяжелый труд, голод, смерть на фронте или от бомбы в тылу, но только не тюрьма! Значит, дело не в регулярности питания и режиме работы, не в организации и назначении ее и не в ощущении безопасности.

Все дело в переходе человека в новое психологическое состояние. Можно мыслить не только о полном равенстве условий жизни, питания, труда, но и отыскивать преимущества по сравнению с “волей”, и все-таки психология “вольняшки” будет принципиально отличной от психологии арестанта. Заключение окабешник никогда не будет предметом зависти “вольняшки”, даже если первый получает ресторанное питание, а второй — жалкие продукты по карточке служащего. Это отличие объясняется и определяется одним словом: раб.

И на воле у советского гражданина немного степеней свободы. Начать хотя бы с состояния быть гражданином. Гражданские права человека обусловлены законом. Но сам-то человек не может, а чаще всего и не умеет воспользоваться предоставленными ему правами. Не так велика и свобода передвижения у “свободного” гражданина: внутри города или села еще туда-сюда, а переехать в другой город и тем более из села в город —

это практически не только невозможно из-за нехватки материальных средств, но для колхозника и уголовно наказуемо. Совсем небольшая свобода выбора места работы, а для окончивших школу так и прямое лишение этой свободы — поезжай, куда пошлют. При низком материальном обеспечении и при всеобщей стандартности предметов питания, жилья, мест отдыха и тут свободы выбора почти нет.

Этих степеней свободы по крупинкам у каждого “вольняшки”, но они реально имеются, и он твердо знает, что этими крохами может всегда и ежеминутно воспользоваться, пусть даже во вред себе. Может свободно просить о переводе на другую работу, свободно обменять лучшую квартиру (скорее комнату) на худшую, но ближе к работе; может свободно поголодать три дня, а потом съесть за один присест три хлебных пайка... Во всем этом он на воле принадлежит самому себе. Этой принадлежности себе арестант лишен: он раб. Сейчас он в камере или в бюро наладил хорошие отношения с другими арестантами, получил в камере место у окна или на нижних нарах “вагонки” и вдруг:

— Кто тут на Пы? Как фамилие? Собирайся с вещами...

Куда? Что? Почему? Бесполезные вопросы. Он — раб, вещь и его, как вещь, перевозят из одной тюрьмы в другую на следствие или переследствие или на новую работу, кому-то нужную, но только не ему.

Сознание своего рабского состояния ни на минуту не покидает арестанта. Это тлетворное сознание изо дня в день подтачивает его физические, а главное, психические силы. Развивается чрезмерная впечатлительность, подозрительность, недоверчивость или неожиданно для себя самого наивная сверхдоверчивость, вспышки гнева и возбуждения сменяются припадками меланхолии. А надо всем довлеет сознание: раб, раб, раб.

Мучительно хочется забыться сном, работой, мастерством, чтобы избавиться от ощущения нереальности и фантастичности реального и чтобы поверить в реальность нереального мира. Вот откуда вытекает жажда работать. Вот почему в исправительно-трудовых лагерях физическое утомление от механической работы приносит облегчение арестантам, особенно из интеллигенции. Умственный труд в спецтюрьмах чище, легче, естественнее для интеллигента, но в этом труде содержится больше психических мучений, чем в труде физическом. Там, на лесоповале, если арестант не имеет органических недостатков и не доведен следствиями и этапами до состояния “доходяги”, то даже интеллигент может окрепнуть и телом, и душой. Есть, по крайней мере, такой шанс. А в спецтюрьме интеллигент постепенно погружается в состояние подавленного духа, боязни своей тени, прострации.

На прогулке два заслуженных и почтенных по возрасту арестанта-профессора с увлечением беседуют о самых высоких материях из области теории чисел. Как приятно со стороны посмотреть на их осанистые фигуры, неторопливые жесты убеждения, подчеркнутую вежливость наклонов корпуса при возражении противнику. И вот из-за угла тюремного здания появляется им навстречу тюремный надзиратель, ну просто обыкновенный “цирик”, на языке окабешников. И с осанками достохвальных профессоров происходит мгновенная метаморфоза. Оба поспешно отступают в сторону, раболепно кланяются и заискивающе улыбаются. Тьфу! Какая гадость! А послушать каждого перед этой встречей, ну Катон Катоном! Одного из них я знал еще по институту: прекрасный педагог, увлекательный лектор и даже с гражданскими нотками при изложении... теории множеств.

Что же такое принудительный труд?

И может ли быть любой труд без принуждения? Да, любой труд связан с принуждением. Но одно дело, когда человек принуждает себя по своему внутреннему побуждению, например, для удовлетворения своих потребностей. Другое дело, когда человека принуждают к труду при отсутствии у него потребности в принуждаемом труде, в результатах этого труда.

К любому труду человека побуждают его личные потребности или потребности других людей. В первом случае мы считаем труд свободным, хотя в нем и имеются элементы принуждения. Во втором, если потребности других людей не связаны, хотя бы косвенно, с потребностями личности труд на других называем принудительным.

Наиболее полная форма свободного труда — труд непосредственно для себя, например, на земле ради получения для своего пропитания продуктов земли. В такой форме свободный труд практически не встречается, или он составляет ничтожный процент от общего труда людей. Сложность взаимоотношений людей и вещей, возникшая с ростом человеческой цивилизации, придала современному свободному труду форму труда для удовлетворения своих потребностей через труд, связанный с трудом других людей. Но главная отличительная особенность свободного труда остается и при этой форме — результаты труда направлены для удовлетворения потребностей трудящегося. При свободном труде человек может использовать результаты своего труда, чаще всего выраженные в деньгах, по своему личному усмотрению на удовлетворение любой своей потребности или всех потребностей в любой для него желательной пропорции. Итак, свободный труд это — труд для себя.

Принудительный труд лишен, или почти лишен элемента личной заинтересованности человека в результатах труда. Он трудится не для себя, а для других. Больше того, он принужден трудиться именно для других и не может по своей воле изменить это его принуждение. Такое состояние человек воспринимает как рабское.

Любые формы труда дают материальные или духовные результаты. Эти результаты используются и отдельной личностью для своих личных целей, и обществом для общественных целей. Результаты свободного труда всегда положительны и для личности, и для общества. Результаты принудительного труда не могут быть положительными для принуждаемой личности. Для общества могут быть положительными только материальные результаты принудительного труда. Положительных общественных духовных результатов от принудительного труда чрезвычайно мало. Общеизвестны материальные результаты принудительного труда — это памятники рабовладельческого общества. В наше время это — памятники труда военнопленных и заключенных, у нас — все эти Беломорканалы, гидростанции, транспортные магистрали и пр. Положительная сторона результатов рабского труда для общества очевидна: общество в форме этих результатов развивает производительные силы страны, укрепляет свое материальное благосостояние и через повышение общественного благосостояния повышается благосостояние отдельных лиц. В период создания результатов принудительного труда аморальная сторона этих результатов очевидна не только для заключенных-созидателей, но и для всех сознательных граждан страны. Но проходит некоторое время, и люди, даже бывшие заключенные, забывают, каким трудом были созданы величественные сооружения, и начинают восхищаться и даже гордиться ими. В этом трагизм принудительного труда — он проклят только для

тех, кто его, исполняет и только в то время, когда он исполняется. Но только от этого принудительный труд не становится привлекательным и не может быть оправдан ни людьми, ни историей.

История только может объяснить неизбежное возникновение принудительного труда. Особенно это объяснение очевидно для истории России. Русская национальность формировалась на протяжении многих столетий в условиях военного лагеря, военных походов и войн. Нам непрерывно угрожали с востока и запада, и мы непрерывно угрожали соседям то на востоке, то на западе. Русское общество всегда было военизированным, а войско и есть самая распространенная форма принудительного труда. Если войско не употреблялось по своему прямому назначению, то, как правило, использовалось для общественных принудительных работ: так строился московский Кремль и пограничные города, так строились Петербург и Одесса, Смоленск и Красноярск, аракчеевские военные поселения, дворцы, монастыри и даже храмы... Поэтому исторически было совершенно естественно осуществлять сплошную коллективизацию в 1929 году, именовавшуюся кое-кем “второй социалистической революцией”, “годом великого перелома”, действительно ломать и переламывать народ с помощью принудительного труда. Это было тем более естественным, поскольку подтверждалось теоретической идеей перманентной революции и потому, что шла ожесточенная классовая борьба. Классовые враги были “законными” военнопленными, которых для их же пропитания нужно было, прежде всего, принудительно заставить работать. Ну, а последующие приступы или “подъемы” классовой борьбы в 1934, 1937, 1941, 1949 годах были естественным продолжением перманентной революции, практическим обоснованием сталинской теории нарастания классовой борьбы в период построения бесклассового общества. Так создавалась

обширная империя НКВД-КГБ-МВД с огромной сетью тюрем и лагерей, среди которых нашли место и спецтюрьмы для использования принудительного труда научной и инженерной интеллигенции.

И что же, оправдали себя эти “золотые клетки”? С точки зрения материальных результатов, безусловно, оправдали. Спецтюрьмы военного назначения поставили на вооружение не одну “машину”, как принято было называть, продукцию особых бюро. А для того чтобы стимулировать изобретательскую мысль арестантов, применялась система поощрений или “морковок”, как их называли окабешники. Эти арестанты 58-й статьи были типичными по поведению кроликами, ну а для кролика морковка должна быть высшим поощрением. Для поощрения вводились дополнительные талоны на питание, дифференцированные обеденные столы по производственным рангам, право на дополнительное письмо родным или свидание с ними, зачеты трудовых дней, сокращавших срок заключения и, наконец, досрочное освобождение.

В этих поощрениях не было системы, регламентации и порядка. Арестанты, по крайней мере, не знали, за что, как и по какой норме или положению они получают очередную “морковку”. Все было основано на произволе: поощрения получали и подхалимы и явные “стукачи”, но получали и высококвалифицированные специалисты. Были случаи досрочного освобождения руководителей проектов “машин”, подлинных новаторов новой военной техники, но были большой учености арестанты, вложившие немало труда и души в те премированные “машины”, но их не освобождали и даже продлевали им сроки заключения.

Последствия принудительного труда

Возвращаясь к вопросу эффективности принудительного труда, необходимо отметить любопытный парадокс: эффективность свободного труда в спецбюро была ниже эффективности принудительного труда. Руководители отделов из вольнонаемного состава, как правило, офицеры, были и малоквалифицированы, и плохо соблюдали трудовую дисциплину, порою попросту были бездельниками. Но когда освобождавшихся заключенных оставляли на работе в спецбюро в качестве вольнонаемных, то и в этом случае эффективность их труда становилась ниже, чем в арестантскую бытность. В чем дело? Принудительный труд арестантов развращал вольнонаемный состав. “Вольняшки” из бывших заключенных становились в положение, подобное тюремному надзирателю, наблюдавшему над своими бывшими коллегами. Он приобретал неписаное правило заставлять на себя работать подчиненных ему “зекашек”, он мог труд подневольных выдать за свой труд. Таковы разлагающие последствия принудительного труда.

После самих арестантов первыми страдальцами становятся их родные на воле: родители, жены, дети, близкие родственники. Психология родных арестантов подавлена не только воспоминаниями о непосредственно потерпевшем, но и страхом за себя и других родных. Они живут под постоянной угрозой репрессий. Если в сталинскую эпоху число заключенных приближалось, допустим, к миллиону, то, по крайней мере, пять миллионов были вовлечены в сферу психологической депрессии. Подавленное состояние духа, боязнь доносов, ареста, подозрительности к окружающим — все это не могло способствовать благополучию ни личной, ни семейной, ни трудовой жизни. И эти страхи были ненадуманными, обоснованы повседневной практикой репрессий: сегодня забирали ночью соседа, через месяц

забирают жену, через неделю увозят в детдом оставшихся беспризорными детей. В тюрьмах и на этапах я встречал пострадавших от своих “приятелей”, сослуживцев и даже жен. Один преподаватель истории на следствии узнал, что его жена, журналист по профессии, доносила на него чуть ли не с первой брачной ночи.

Отрицательные последствия принудительного труда и репрессии сказались не только в семейном кругу, но и в профессиональном. Только вчера какого-нибудь деятеля ставили в пример и отмечали правительственными наградами, а сегодня все узнают, что он арестован как враг народа. Созываются специальные общие собрания сотрудников учреждения, где работал арестованный, присяжные ораторы извергают на голову пострадавшего страшные обвинения, как правило, в измене родине и революции. На подобные собрания обязаны были являться все; неявившихся строго учитывали и требовали от них обстоятельных объяснений. Присутствующие на собрании единогласно голосовали за заранее подготовленную резолюцию, проклинавшую врага народа и призывавшую к повышению бдительности. Все близко знавшие репрессированного тайком, один на один спрашивали друг друга о причинах катастрофы и не находили правдоподобного ответа. Верхом гражданского мужества можно было считать, если в таком разговоре беседовавшие молча разводили руками и поспешно расходились.

Бросалась в глаза целенаправленность репрессий — уничтожались выдающиеся люди во всех областях жизни: в политике, профсоюзном движении, промышленности, высшей школе, науке. Такое кровопускание, безусловно, причиняло огромный вред всему народному хозяйству и народу в целом. Последствия террора были шире и глубже, чем результаты от разового удара внешнего врага. Нарушался весь нормальный ход общественной

жизни народа, насаждалась противоестественная система принудительной производственной деятельности и этим предопределялось падение производительности труда в целом по стране. Систематическое падение темпов роста совокупного общественного продукта и национального дохода, наблюдаемое с 30-х годов, является прямым следствием принудительного труда и связанных с ним мероприятий.

Нормальная производственная деятельность народа происходит примерно по следующей схеме: любое производство зарождается у истоков общества — в низовых формированиях ремесел, промышленности, сельского хозяйства. Низовая первичная основная деятельность, интегрируясь, образует надстройку в виде объединений — кооперативных союзов, трестов, синдикатов, отраслей, министерств и, наконец, правительства и его плановых органов. Нормальной целью деятельности этих объединений является содействие равномерному, бескризисному развитию низовой производственной деятельности. Это содействие осуществляется рекомендательными и, в необходимых случаях, директивными мероприятиями, идущими последовательно сверху вниз. Директивы, спускаясь вниз, претерпевают изменения, в них жизнь вносит поправки, но и низовая деятельность также изменяется под воздействием разумных директив и рекомендаций. Измененная низовая деятельность вновь интегрируется, вновь создает уточнения в деятельности надстроек, и весь цикл повторяется заново. Так должен происходить естественный процесс производственной деятельности народа, обеспечивающий ему полноценную и оптимальную производительность труда, которая, в свою очередь, своими результатами обеспечивает полнокровное развитие народа путем удовлетворения его основных потребностей — развития вида и индивида. При широком распространении принудительного труда

описанная схема нарушается, прежде всего, в основе и направлении производственной деятельности: она зарождается не в низовых формированиях народа, а в бюрократических верхах, присвоивших себе право решать за народ направление, содержание, объемы и качество его деятельности. В этом присвоении права решать судьбы народа без участия народа и заключается идея принудительного труда. Хотя у нас много кричат об инициативе масс, о планировании снизу и пр., но на самом деле все это пустые слова, прикрывающие бесконтрольное бюрократическое самоуправство сверху, т.е. худшую форму принудительного труда, основанного на произволе.

Лучшей иллюстрацией являются непрерывные реорганизации управления народным хозяйством, потрясающе и расшатывающие его. Происходит не научное (о чем больше всего кричат неумные “умники”) интегрирование народной инициативы, а подавление ее голыми кабинетными схемами, созданными во имя осуществления нежизненных и безжизненных идей. На всех ступеньках хозяйственной иерархии, прежде всего, заботятся об удовлетворении требований сверху, т.е., прежде всего, осуществляется принудительное исполнение директив. Нежизненные бюрократические директивы, придя вниз, не оплодотворяют инициативу, а коверкают ее и гасят. Полученное в результате месиво из жизни и директив начинает чудосочно восходить вверх для интеграции. Но и на этом пути информация снизу всемерно и многократно принудительно переделывается и фальсифицируется во имя “показухи”. Пришедший вверх синтезированный материал, конечно, не может служить полезным отправным пунктом для формирования разумных рекомендаций. Наоборот, вверху хорошо видят отсутствие достоверной статистики и тем в большей мере и степени укрепляются в необходимости принудительных мер для “улучшения”, “в целях дальнейшего улучшения,

дальнейшего повышения, дальнейшего развития” и пр. и т.п.

Так принудительный труд приводит, с одной стороны, к непрерывному росту бюрократизации хозяйственной деятельности народа, а с другой — к непрерывному подавлению подлинной хозяйственной инициативы внизу. Бюрократизация, беспрепятственно разрастающаяся, как раковая опухоль, в народном организме, не только омертвляет его, но и лишает ума самих творцов принудительной системы.

Экономика вопиет и обвиняет

Моя наблюдательность недостатков состояния и развития горной промышленности привела меня в тюрьму. Теперь мне стали значительно яснее причины этих недостатков; они были связаны с применением принудительного труда в широком понимании этого слова: принуждения физического и морального, подавления сверху экономической, политической и культурной, подлинно свободной инициативы народа.

По роду своей работы в научно-исследовательской маркшейдерской организации и в производственном маркшейдерском тресте я имел доступ к статистическим данным добычи всех полезных ископаемых. Маркшейдерия — своеобразная горная бухгалтерия по учету, контролю, планированию добычи и движения запасов полезных ископаемых. В наших работах и исследованиях большое внимание уделялось, прежде всего, “хлебу промышленности” — углю. Меня поразило резкое падение добычи угля в 1938 году: прирост добычи составлял всего 4 процента. Собрал данные с 1935 года, я обнаружил, что в 1937 году прирост добычи угля составлял еще меньше — только один процент, тогда как в 1936 году этот прирост составлял 14 процентов. Эпоха резкого падения добычи угля совпадала с эпохой

жесточайших репрессий, связанных с ликвидацией “остатков бухаринско-троцкистских шпионов, вредителей, изменников родины”, как писалось в главе XII краткого курса истории ВКП(б), изданного в 1938 году.

Но, может быть, это падение добычи угля было локальным явлением, специфическим только для угольной промышленности? Для проверки своих сомнений я обратился к смежной с углем топливной отрасли — нефти. И тут прирост добычи нефти за период с 1936 по 1937 год сократился в два раза по сравнению с периодом 1935-1936 года, а за период 1938-1939 годы вообще никакого прироста добычи нефти не было.

Ну, а как обстояло дело в железорудной промышленности — основной базе черной металлургии и машиностроения, этих фундаментов тяжелой и оборонной промышленности? Добыча в 1937 году оставалась на уровне предыдущего года, т.е. прирост добычи был равен нулю! А для 1938 года этот прирост превратился в отрицательную величину: добыча железной руды в этом году уменьшилась на 1,2 миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом!

Еще более разительную картину падения производительности общественного труда обнаруживала марганцевая промышленность: добыча марганцевой руды, начиная с 1937 года, уменьшилась по сравнению с 1936 годом на 7 процентов, в 1938 году — на 23 процента и в 1939 году — на 26 процентов. Только в 1940 году уровень добычи марганцевой руды повысился, но и то не достиг уровня 1936 года, составив по отношению к добыче этого года только 87 процентов. Падение добычи марганцевой руды означало уменьшение поставок марганца для производства спецсталей, для вооружений. 1935-1940 годы могут считаться периодом высшего расцвета принудительного труда в СССР и в то же самое

время периодом всеобщего ожидания мировой войны и войны нас с Германией, в частности.

Уже приведенных выше примеров достаточно для иллюстрации того, как плановое хозяйство под руководством “дорогого и любимого вождя” готовилось к военной катастрофе первых лет вступления СССР во вторую мировую войну. Но я расширил свои исследования и вот что установил.

Обнаруживается поразительный факт: резкое падение приростов по всем отраслям и промышленности в целом за период 1937-1940 годов. По подавляющему большинству производств наблюдается не только падение годовых приростов, но и прямое снижение абсолютных объемов производств. Так в 1937 году добыча железной руды составляла 27,8 млн. тонн, а в 1938 году — 26,6 млн. т; соответственно марганцевой руды — 2,8 и 2,3 млн. т; кокса — 20,6 и 19,6 млн. т; стальных труб — 0,2 и 0,1 млн. т. Для основных производств черной металлургии отрицательная величина годовых приростов смещается на период 1938-1939 годов: производство чугуна по этим годам составляет 14,6 и 14,5 млн. т; производство стали соответственно — 18,9 и 17,9 млн. т; проката — 13,2. и 12,7 млн. т. А вся валовая продукция промышленности с 1939 по 1940 год увеличилась менее чем на один процент.

Нужно принять во внимание факт, что описанное ухудшение производств ведущих отраслей промышленности происходило в предвоенные годы. Следовательно, ни террору, ни гипнотизирующее величие “вождя”, ни “научное” планирование не смогли противодействовать катастрофическим последствиям применения принудительного труда. Эти последствия, можно предполагать, фактически были значительно разительнее, если принять во внимание подхалимажную

роль органов статистики, имевшей прямое задание прославлять великими делами “великого, дорогого и горячо любимого вождя мирового пролетариата”.

Неотвратимые последствия принудительной системы не смогли не только преодолеть, но хотя бы приостановить ухудшение экономики при очевидном для всех сознании быстрого приближения войны. А как готовились к войне капиталисты? Для сравнения стоит привести рост валового общественного продукта в США: в 1939 году он вырос по сравнению с 1938 годом на 8 процентов, в 1940 году тоже на 8 процентов и в 1941 году — на 16 процентов. Как видно, капиталисты не зевали. Данные советской экономики вопиют и обвиняют. Почему? Что это? Беспечность или предательство? Ни то и ни другое: это — возмездие, которое, к величайшему сожалению, приготовил себе русский народ всем историческим ходом своего развития, основывая его в значительной мере на принудительном труде.

К новому этапу

В конце 1949 года меня неожиданно вызвал к себе приехавший из Москвы начальник 4-го спецотдела МВД полковник Иванов. Он начал подробно расспрашивать о моей работе до ареста. Заинтересовался работами по геометризации месторождений полезных ископаемых и содержанием новой научной дисциплины, созданной профессором П.К. Соболевским, Геометрии Недр. Предложил на его имя написать специальную записку о сферах практического применения Геометрии Недр. Записка мною была подана. Потом в декабре полковник Иванов еще раз вызывал меня к себе и сказал примерно следующее:

— Срок вашего заключения кончается через полтора года. Вы, конечно, понимаете, что возможностей вернуться на работу в Ленинград или Москву у вас не

будет. Вам предстоит длительный этап к назначенному месту ссылки. Трудности этапов вы представляете. Я предлагаю вам переезд специальным этапом в Красноярск, в районе которого после окончания срока тюремного заключения вы будете работать в нашем особом техническом бюро, а после освобождения останетесь там работать вольнонаемным. Бюро занимается вопросами, связанными с вашей бывшей горной специальностью. Подумайте, через неделю я вас еще раз вызову.

Через неделю я дал согласие. Как будто от моего решения действительно зависела моя дальнейшая судьба. Четвертый спецотдел МВД без моего согласия решил отправить меня в Красноярск, и при любом моем отношении к своей судьбе это решение выполнилось бы. Но в четвертом спецотделе понимали, что лучше иметь раба, добровольно соглашавшегося с предлагаемой ему работой, чем раба, испытывающего отвращение к работе.

С января 1950 года меня практически не загружали трудом по тематике ленинградского ОКБ. Я собирал по книгам и энциклопедиям сведения о Красноярске, восстанавливал свои знания по геологии, геологоразведочному и маркшейдерскому делу, Геометрии Недр, горному проектированию и строительству рудников.

В этот же период мне разрешили одно свидание с женой. Оно было печальным. У жены свои заботы и неприятности на работе и в жизни; у меня — свои: я думал о красноярской неизвестности, беспокоился — увижусь ли с женой еще когда-нибудь? Я боялся сказать ей, что для меня не может быть возврата в Ленинград.

Была у меня еще одна забота, которую нужно было во чтобы то ни стало разрешить: как увезти с собой мои сокровенные записки? Их я разделил для себя на

“секретные” и “совершенно секретные”. К первым я относил дневники, к “совершенно секретным” — мои философские, социологические и политические заметки. “Секретные” записки по мере накопления, через верных друзей из вольняшек, бывших заключенных, я переслал жене. На свидании я объяснил ей степень опасности переданных записок, и если она сочтет благоразумным не рисковать своим спокойствием, то дал ей право уничтожить их. Она прекрасно меня поняла, но ни один листок моих дневников не был уничтожен. Жена хранила их до выхода моего в ссылку и привезла их мне.

Сложнее представлялся вопрос о “совершенно секретных” материалах. Сначала я намеревался организовать хранение их на воле у одного из вольняшек, но у меня был печальный опыт подобного хранения. В свое время, еще до предположения о моем переезде в Красноярск, я с одним вольнонаемным сотрудником ОКБ разработал детальный план способа и места хранения записок. С этим сотоварищем я прожил в спецтюрьме около пяти лет. Срок, казалось бы, достаточный, чтобы “съесть сорок пудов соли”. Товарищ благополучно вынес мои записки из тюрьмы и замуровал их в положенном месте. Содержание материалов он, конечно, знал и даже проштудировал их основные положения. Но, видно, сорока пудов соли было мало. У него начали появляться признаки беспокойства, и в один несчастный день, в воскресенье, когда он был дома, ему показалась подозрительной фигура прогуливавшегося человека у окон его квартиры. Он вскрыл тайник и все материалы уничтожил — сжег в буржуйке (в конце сороковых годов буржуйки все еще оставались в действии в некоторых ленинградских квартирах). Страхи оказались напрасными, мой друг очень горевал и каялся в своем малодушии. Но что было, то было. Рассчитывать на него я, конечно, дальше не мог.

И вот теперь, перед отъездом в Красноярск, я был в затруднительном положении. И так большая ответственность была возложена на жену: хранение дневников и поддержание связей с некоторыми друзьями на воле. Оставалось рисковать собой. Я вырезал из плотной вычислительной бумаги подметки и мелко исписал их числовым шифром. Получилось по пять листов на ногу. “Подметки” снизу и сверху были накрыты такой же вычислительной бумагой, также исписанной, но теперь уже совершенно бессмысленными числами. Вырезанные листы я сшил толстой суровой ниткой. Эти “подметки” я вложил в выданные мне новые ботинки, которые выбрал на два номера больше требуемых. Я рассчитывал, что при обыске вычислителя-окабешника у обыскивающего не должны вызывать подозрения исписанные числами негодные листы бумаги, использованные на подметки. Мои предположения оправдались: я свои “совершенно секретные” материалы благополучно довез до Красноярска, а потом вынес их и на “свободу”.

За неделю до отъезда меня обмундировали во все новое: шерстяной костюм, бежевый шерстяной джемпер, манишку, галстук, носки, ботинки. Наступил день отъезда. Я обошел все рабочие залы ОКБ, всем пожал руку. У каждого из друзей посидел минут по пять — было решено не собираться и ничем не демонстрировать мой отъезд. Грустно стало, хотя и приняли некоторые меры к возможной встрече в Красноярске. Ленинградский этап кончился. Впереди опять неизвестность.

Болшево

В конце января 1950 года меня со специальным конвоем перевезли из Ленинградских Крестов в спецтюрьму в Болшево, под Москвой. Как я ни готовился к этому спецпереезду, действительность превзошла мои ожидания и произвела сильное впечатление. Началось с

того, что вместо “воронка” в Крестах нам подали “эмку” — легкой автомобиль марки завода имени Молотова. Я сел на заднее место, по бокам два конвоира в штатском и еще один — с шофером. На московском вокзале перед посадкой в поезд на Москву наша группа остановилась у газетного киоска.

— Может, газет купим? — обратился ко мне один из конвоиров. Я немедленно воспользовался разрешением и закупил каких только возможно. Пошли на посадку в толпе таких же “штатских”, как и мы сами, и никто не обращал на нас внимания. Мне почему-то казалось, что все вокруг должны знать, что вот ведут “врага народа”. Разместились в отдельном купе. Как только поезд тронулся, проводник вагона любезно разнес всем пассажирам чай и сахар. Все это было просто и естественно, но совершенно непривычно для меня. Когда в последний раз ехал в нормальном пассажирском вагоне? В начале 1941 года возвращался из московской командировки в Ленинград. Восемь с половиной лет тому назад! Подумать страшно! На дорогу до Москвы мне в спецтюрьме выдали белый хлеб, полкило колбасы, двести граммов сливочного масла. Я вынул свои продукты, разложил их на столике в купе и... и не мог есть. К горлу непрерывно подступали слезы.

— Что же вы чай не пьете? — обратился ко мне конвоир.

— Горячо... — пробормотал я и уставился в шторку, закрывавшую темное окно. Немного успокоился, быстро выпил чай, ничего не ел и лег на нижнюю лавку лицом к стене.

Куда я еду? Зачем? Что мне еще нужно на этом свете? Деятельность маркшейдера, геолога, проектанта, политического деятеля? Какая все это мишура по сравнению с самим процессом жизни. Но разве это жизнь? Это же прозябание хилого росточка, вылезшего из

щели между булыжниками тюремного двора. Вот эти конвоиры — булыжники, а купе, не купе, а одиночка, даже карцер. Тот самый карцер, в котором я мог бы покончить жизнь самоубийством. Не успел, или не мог?

— Примите постели, — прервал мои печальные грезы голос проводника. Матрац, две простыни, плюшевое одеяло, наволочки, полотенце. Я быстро устроил постель, разделся, лег и быстро заснул, не мучаясь больше воспоминаниями.

Утром в Москве на Ленинградском вокзале пришлось посидеть часа два, пока ни пришла легковая машина из Болшево. Я с интересом рассматривал через окно автомобиля окрестности Москвы. Ехать пришлось километров тридцать. Вот показались вышки по углам забора, обнесенного сверху колючей проволокой. Значит, приехали. Спецтюрьма занимала большой участок, частично заросший редкими стройными корабельными соснами. На участке три одноэтажных здания: одно — занято общежитием спецконтингента, другое — ОКБ и третье — кухней, столовой и подсобными помещениями. ОКБ значительно меньше, чем в Крестах. Общежитие представляло собой одну огромную комнату, заполненную кроватями и тумбочками, к спальне примыкал коридор с несколькими кабинетами тюремного начальства, маленькой кухней и уборной. В этой спецтюрьме совсем недавно сидел знаменитый авиаконструктор А.Н. Туполев. Профиль ОКБ был весьма разнообразным: от авиаконструкций до лесотехники. Мне было объявлено, что я нахожусь в “отпуске” и ничем меня загружать в ОКБ не будут. Я гулял по территории спецтюрьмы, читал беллетристику и научно-технические книги, пополнял свои записки по Красноярскому краю и горным наукам.

В спецтюрьме встретились любопытные люди: бывшие военные защитники Ленинграда, ученые по лесному

хозяйству, радиотехники, художники. Сидел там и один из последних в роде князей Голицыных. Он хорошо знал семью Льва Николаевича Толстого. Перед арестом работал в Ясной Поляне в толстовском музее у Софьи Андреевны Толстой.

За время “отпуска” меня два раза вывозили в Москву в 4-й спецотдел к полковнику Иванову. Там я узнал, что в Красноярске организовано Особое техническое бюро — ОТБ-1. Иванов выяснил мои знания по проектированию горных предприятий и сообщил некоторые сведения о намечавшихся объектах работ. После второго приезда к Иванову мне разрешили короткое свидание с дочерью. Я не видел ее восемь с лишним лет. Очень волновался, все время старался держать ее за руку и в разговоре перепрыгивал с одной темы на другую: и как живет, и как учится, и как умер Женя.

В середине февраля меня собрали на спецэтап в Красноярск. В отдельном купе скорого поезда ехали четыре штатских гражданина, по виду и поведению ничем не отличавшихся от других и не подавших никаких оснований подозревать, что везут политического преступника. В первые дни пути мои конвоиры приглядывались ко мне и даже старались незаметно сопровождать в уборную. Потом убедились в моем благонравии и даже предлагали выходить на перрон больших станций для прогулки. Ночами конвоиры по очереди бодрствовали, охраняя, но под конец пути оставили и эту предосторожность. Большею частью времени я сидел в купе и читал. За девять лет пребывания в спецтюрьме у меня накопилась небольшая личная библиотека по математике, горному делу, маркшейдерии, истории и иностранным языкам. Был с собой восьмой том Большой Советской Энциклопедии издания 1927 года. Еще в Томской спецтюрьме окабешникам было разрешено приобретать книги на

деньги, числящиеся у них на лицевых счетах в тюремной бухгалтерии. Тогда я и купил восьмой том энциклопедии. Этот том был особенно для меня интересен тем, что в нем содержались такие статьи: бумажные деньги, бурение скважин, буржуазия, бюджет государственный, бюджетные индексы, валюта и все с ней связанные статьи, вариационное исчисление и др. При обыске перед отъездом в Болшево все мои книги и рукописи (по математике) были просмотрены начальством ОКБ. По дороге в Красноярск я обнаружил, что из энциклопедии были вырезаны страницы 269-284, среди которых помещалась статья о Бухарине. Я особенно не жалел о такой потере. Статья имела интерес не своим содержанием, а отношением коммунистической идеологии сороковых годов к своим корифеям эпохи Ленина.

Для меня более ценным были мои записки по религиозным вопросам. Я даже был удивлен, что эти записки были пропущены цензурой ОКБ. Предполагаю, что такое упущение цензуры объясняется началом этих записок, написанных по-французски. Цензор, вероятно, принял сорок два урока, преподанные Буддой, за учебные французские упражнения и не просмотрел рукопись до конца. В конце же на 38-ми страницах мелкого (для чтения через лупу) текста была переписана моя статья “О вере”. В дороге я не только перечитывал в десятый раз свои книги по математике, но и развлекался чтением на английском языке комедии Оскара Уайльда.

ОТБ-1

В Красноярске меня неделю выдерживали в городской тюрьме. Задержка водворения в ОТБ-1 дала повод подозревать, что вокруг меня ведется какая-то интрига. Позднее, почти через год выяснилось, что я действительно оказался яблоком раздора между 4-м спецотделом МВД и Главенисейстром того же МВД.

Первый считал своей обязанностью и правом комплектовать спецтюрьмы, второй хотел новое спецбюро укомплектовать своими кадрами, конечно, тоже арестантскими. Если бы я был “рядовым” спецарестантом, то, вероятно, меня приняли бы в ОТБ-1 без трений, но мой спецэтап говорил, что везут заключенного, предназначенного на руководящую работу, а на такую работу Главенисейстрой хотел назначать своих “руководящих” арестантов.

Возмущенный длительной задержкой в городской тюрьме с плохим питанием, грязью и вонью, я потребовал бумаги для заявления в 4 спецотдел МВД. Возымело ли действие требование, или спор обо мне кончился сам собой, но через день я был переведен в ОТБ-1. Еще через день я был приведен к начальнику, который сообщил, что собирается меня назначить заместителем начальника проектного отдела. Я отказался от такой чести и просил оставить на рядовой работе в должности старшего инженера.

Особое техническое бюро занимало обширную территорию, без малого целый квартал, и представляло собой по существу не одну, а три организации. Во-первых, в ОТБ-1 входил проектный отдел с полным комплектом подразделений большого института по проектированию горнозаводских предприятий. Во-вторых, при ОТБ-1 состоял геологический отдел с минералогической, спектрографической, химической и петрофизической лабораториями. В-третьих, на территории ОТБ-1 располагался входящий в его состав экспериментальный завод по очистке металлической сурьмы до чистоты в 99,99%. Такое разнообразие деятельности было вызвано не потребностями внутреннего плана учреждения, а отражало стремление МВД захватить всевозможные стороны народного хозяйства во имя создания всемогущей “империи МВД” — государства в государстве,

во имя ореола незаменимости в глазах дорогого и любимого вождя Сталина.

С первых же дней моего пребывания в ОТБ-1 меня старались вовлечь в сложные интриги, связанные с борьбой за власть, влияние, служебные места между 4-м спецотделом МВД и Главенисейстроем МВД, между проектным и геологическим отделом, между руководящими работниками. Душой всех этих интриг был начальник проектного отдела Локштанов. Высокий, стройный, стремительный, с продолговатым лицом, римским носом, большими умно-хитроватыми глазами, он мог бы сойти за красавца, если бы не нервный тик лица и непроизвольно часто возникавший оскал рта. Этот человек был буйной и бурной биографии, сын русского и еврейки, инженер-строитель по специальности, рвач и лихоимец, развратник и интриган, авантюрист и пройдоха, не один раз судимый и каждый раз вылезавший сухим из воды, сидевший в лагерях и тюрьмах и досрочно освобождавшийся, но самое главное — умевший при любых обстоятельствах делать себя незаменимым.

Вот и сейчас Локштанов был на положении заключенного. Его привезли из Норильска. Туда он попал в конце тридцатых годов по 58-й статье. Работал в спецбюро по строительству города Норильска. Отлично проявил себя по проектированию и строительству в условиях вечной мерзлоты. Был досрочно освобожден. Немедленно завел любовные связи с женами многих норильских инженеров, хотя сам был женат и жена приехала к нему в Норильск. На разгульную жизнь, особенно дорогую в условиях Заполярья, нужны деньги. Для этих целей Локштанов быстро продвигался по службе. Сделался правой рукой главного архитектора города, а потом и любимчиком начальника Норильскстроя генерала Панюкова. Но и оклады высоких должностей не покрывали расходов локштановского разгула. Он принялся за махинации с

оплатой проектных и строительных работ. Его арестовали, но жене удалось увезти паспорт мужа в Москву, где она с помощью заполярных бешеных денег хлопотала о его освобождении. Когда генерала Панюкова назначили в Красноярск начальником Главенисейстроя, то он вспомнил о Локштанове и выхлопотал ему перевод в ОТБ-1. Здесь Локштанов, будучи еще заключенным, развернул молниеносную деятельность. Он понял, что в начале формирования Главенисейстроя нужны, проекты не рудников и заводов, а лагерей для строителей-заключенных. Он немедленно перестроил работу проектного отдела. Конечно, Локштанов не забыл и себя. Устроил отдельную камеру-квартиру на территории ОКБ, обзавелся “шестерками” из арестантов и вольняшек, вновь стал незаменимым человеком при генерале Панюкове.

Но строительство лагерей для заключенных не самоцель. Локштанов и это своевременно понял. Понял и необходимость подсчета и утверждения запасов полезных ископаемых, для добычи которых должны строиться рудники. Подсчет запасов — дело геологов. Но геологический отдел ОТБ-1 не мог удовлетворить эту потребность: там собрались петрографы, минералоги, геофизики, составители региональных геологических карт, поисковики, но не было разведчиков-геологов, которые могли бы произвести экспертизу разведанных месторождений и подсчитать их запасы. Вот тут-то под рукой у Локштанова оказался я: маркшейдер, геометр, специалист по оценке месторождений.

С первых же шагов я понял необходимость этого рода работ и предлагал начальнику геологического отдела, такому же заключенному, организовать специальную группу по подсчету и оценке запасов полезных ископаемых при его отделе. Мое предложение принято не было. Отказавшись от заместительства начальника

проектного отдела, я в должности старшего инженера занялся скромными работами по анализу геологических материалов месторождения Киялых-Узень, на котором предполагалось строительство горно-обогатительного комбината. Локштанов вначале не замечал меня, успокоившись моим отказом от должности. Но вот как-то, обходя доски проектантов, он подошел ко мне и увидел мои изометрические построения в разных проекциях рудного тела месторождения Киялых-Узень. Наглядность картин так поразила Локштанова, что он специально вызвал меня к себе и долго расспрашивал о моих научных работах и возможностях применения их при проектировании рудников.

— Я плохо разбираюсь в геологических материалах, но вижу, что вы с их помощью можете хорошо все видеть под землей. Нужно немедленно вас включить в дело. В Главенисейстрое я слышал, что геологи бьются над оценкой сложного месторождения “Юлия”. Вас нужно послать туда.

Деятели эпохи

Нужно отдать должное деловитости Локштанова: сказано — сделано — было его девизом. Через три месяца после моего приезда в ОТБ-1 и через неделю после разговора с Локштановым о “Юлии”, мною была сформирована партия из заключенных проектантов и геологов и под хорошим эскортом тюремных надзирателей направлена на рудник “Юлию”. Из Красноярска мы должны были ехать поездом до Ачинска, там пересесть на абаканский поезд; на станции Киялых-Узень мы должны были высадиться и дальше следовать на автомашинах 40 километров до рудника Юлии. Это путешествие было чрезвычайно колоритным.

Прежде всего, на первой же станции после Красноярска арестанты моей партии раздобыли водку, угостились

сами, угостили меня и конвой. Конвою показалось мало, и они добавили от себя. Когда поезд тронулся дальше, то в наших двух купе “шумел камыш”. Пьянство конвоя вызвало перебранку с железнодорожной охраной на следующей станции. Нас чуть не арестовали вместе с конвоем и едва не высадили из вагона. Дело было к ночи. Утром мы благополучно прибыли в Ачинск.

Наш поезд на Абакан уходил вечером, и нам предстояло пробыть целый день в Ачинске. Конвой расположил нас на привокзальной площадке около скверика. До обеда все шло спокойно. С нами был сухой паек, и мы, достав через конвой кипяток, скромно пообедали, сидя на травке. Но конвой решил обедать на вокзале. Предполагалось, что конвойные будут обедать по очереди, но вскоре как-то оказалось, что мы совсем остались без конвоя. Мне стоило большого труда уговорить ретивых до водки сотоварищей не покидать группы до прихода начальника конвоя. Вот конвоиры начали появляться из вокзала, но. Боже мой, в каком состоянии! Вдрызг пьяные! Что было делать? Наши роли переменились: нам пришлось оберегать, охранять и уговаривать свой конвой от дальнейших возлияний. Во время этих уговариваний и суматохи сбежал особенно удалой арестант — геолог. Сбежал он, конечно, только до пивного ларька, но полупьяный начальник конвоя раскричался и решил нас поместить на привокзальную гауптвахту.

Кто может представить себе это живописное шествие нашего отряда на гауптвахту? И конвоиры поддерживали под мышки пьяного геолога, и проектанты поддерживали пьяных конвоиров, и вся эта компания кричала, шаталась, заставляя шарахаться в сторону мирных встречных ачинцев. На гауптвахте конвой заснул и чуть не проспал вечерний поезд. С помощью охраны гауптвахты нас погрузили в вагон, и мы тронулись дальше. В пути начальник конвоя беспрерывно пересчитывал арестантов

и конвоиров и все время путался, то включая в счет, то забывая лежащих под нижними скамейками конвоиров.

На станции Киялых-Узень нас встретил наряд МВД: сюда дали знать по телефону о наших художествах в Ачинске. Автомашины были уже готовы, и нас без приключений отправили на “Юлию”. Дорогой я размышлял о предстоящей деятельности на руднике. Если ачинский стиль нашего поведения будет продолжаться, то вся работа будет сорвана, а отвечать придется мне.

Опасения оказались напрасными. На “Юлии” все было подчинено МВД: разведочные работы, строительство поселка для вольнонаемных и лагеря для заключенных. Здесь было так много всяких явных и тайных наблюдающих, что ни арестантам из ОТБ-1, ни их конвою нельзя было развернуться по-ачински. Эта же насыщенность эмвэдэвского наблюдения позволила расконвоировать нас — отебешников. Нам отвели для жилья большую комнату в только что отстроенном доме, рядом в комнате поместился наш конвой. Работали мы в помещении местной геологоразведочной партии, обедали в столовой инженерно-технических работников рудника.

В день приезда на “Юлию” я был вызван к начальнику строительства будущего рудника — Сараханову. Надо сказать, что одеты отебешники были довольно скромно — в легкие черные костюмы из дешевой материи и поэтому внешне производили неважное впечатление. По одежке встречают... Так и получилось. Сараханов в форме Горного полковника (таких полковников называли “павлинами” за большое число золотых и синих нашивок на рукавах) пренебрежительно осмотрел меня строгим взглядом с головы до ног, выждал несколько мгновений и только потом милостиво предложил сесть. Это был могучий мужчина, когда-то, надо полагать, блестящий красавец, брюнет, теперь с сединой, в черной вьющейся и все еще огромной шевелюре. Правильное смуглое лицо

украшали большие, слегка навывкате, глаза, обрамленные широкими густыми бровями. Передо мной сидел легендарный Костя-пират, так мне его назвал перед отъездом Локштанов.

Заинтригованный такой рекомендацией, я еще в ОКБ постарался собрать о нем сведения. Сараханов долгие годы слыл на Колыме грозным полубогом в округе, по площади равной небольшому европейскому государству. В его беспредельном и бесконтрольном владении находились люди и природа: оловянные рудники, золотые прииски, угольные шахты, лесные разработки, все виды транспорта и связи и лагеря, лагеря, лагеря заключенных. Когда на прииске появлялась буквально упавшая с неба (у него был свой самолет) фигура Сараханова, одетая в нагольный полушубок, подпоясанный широким красным кушаком с болтающимся на боку маузером, в папаче, заломленной на торчащих во все стороны черных кудрях; когда эта фигура, с утра полупьяная, шагала размашистым шагом по прииску, изрыгая звероподобным рыком матерщину, когда за ним, почтительно отстав на два шага, семенили и забегали по сторонам всех родов “шестерки”, готовые по первому знаку владыки кинуться избить, связать, отнять что бы то ни было, — тогда местным вольным, полувольным и заключенным жителям оставалось только одно: шепотом передавать друг другу информацию — Костя-пират приехал!

За какой-то сверхвыходящий за рамки произвол Костю-пирата отдали под суд. Но ворон ворону глаз не выклюет. Он отделался легким испугом — назначением с дальнего севера на ближний — в ведение генерала Панюкова. И вот теперь, пока не приглядел еще себе дела по своей широкой натуре, Сараханов сидел скромным начальником строительства рудника “Юлия”, рудника, имевшего большое и громкое прошлое, но пока — никакого будущего. Причиной бесперспективности было

отсутствие даже предварительного подсчета запасов полезных ископаемых, таящихся в недрах, которые вот уже три года разведывали геологи.

— Ну, и что же вы собираетесь здесь делать? — брезгливым тоном начал Сараханов, прочтя поданное мной задание, подписанное геологическим начальством Главенисейстроля, в котором был дан исчерпывающий ответ на вопрос Сараханова. Я кратко повторил содержание нашего задания.

— Я вижу все это на бумаге, — прервал меня Сараханов, — мне не слова нужны... Локштанов обещал мне прислать человека, который на три версты в глубь земли видит, а тут... — Сараханов удержался от нелестной для меня оценки.

— Ну, хорошо... хотя, пока хорошего я мало вижу, — все-таки не утерпел он от подковыки, — идите к начальнику геологоразведочной партии и приступайте к работе, а там видно будет...

Я познакомился с местными геологами и тотчас обнаружил причину ничтожных результатов работы партии — все они были чистейшими поисковыми без всякого опыта настоящих геологов-разведчиков. Они ходили по окрестностям, искали выходы коренных пород, описывали эти выходы, искали следы приповерхностных рудопроявлений, составляли геологическую карту, а все их разведочные работы ограничивались канавами. В эти канавы было “зарыто” столько денег, — шутили местные работники, — сколько не получить, добыв из недр медь и все, что там есть стоящего.

Начальник партии оказался очень милым человеком, любезным и внимательным, тактично щадившим самолюбие заключенных-специалистов. Он делал все, что было в его силах для облегчения нашего положения.

Честный коммунист, тяжело переживший неудачи своей геологической партии, прекрасно сознававший, что нужно решительно перестроить работу партии, но не знал, как это сделать. Он искренне негодовал против безответственных требований начальников Главенисейстроя молниеносно выдать результаты разведки и, главное, чтобы они были обязательно положительными и не просто, а отличными. Когда я близко сошелся с ним, он открылся мне, что особенно страдал от этого лихорадочного ожидания в Главенисейстрое открытия несметных богатств, якобы скрытых в недрах юга Красноярского края и “Юлии”, в частности.

Примерно недели через две после нашего приезда все начальство “Юлии”, и особенно геологоразведочная партия, были взволнованы ожиданием приезда какого-то важного лица. Я спрашивал начальника партии:

— Ждете геологическое начальство из Главенисейстроя?

— Нет. Да... ждем начальство-то начальство, только это будет повыше всякого начальства...

Так ничего толком я и не добился, хотя по всем признакам было видно, что ждут особенно высокое лицо.

Каково же было мое разочарование, когда этим лицом оказался корреспондент газеты “Правда”, да еще женщина. Корреспондент Шестакова была достойна внимания, но не настолько же, чтобы всколыхнуть весь рудник и даже самого Сараханова. Я бы не придал этому событию большого внимания, если бы не усмотрел при посещении Шестаковой геологоразведочной партии элементы не только высокой профессиональной осведомленности, но и большой административной власти. Я невольно присутствовал при этом посещении, так как оно происходило в большой комнате

геологической партии, где работали и мы — окебешники. На нас Шестакова не обратила никакого внимания, даже не кивнула, когда начальник партии представил ей нас. Она продолжала с начальником партии начатый разговор:

— Не то, совершенно не то мы от вас ожидаем. Вы спускались в старую шахту? Что? Она еще не откачена? Да, ведь это вредительство! Три года торчать на “Юлии” и не побывать в шахте времен “Енисей коппер компани”? Вы знаете что-нибудь о штреке Стемпфорда?

— Я читал в старых отчетах, что Стемпфорд пытался этим штреком найти новые богатые залежи меди, взамен отработанных около шахты, но ведь и штрек затоплен...

— Ну, батенька, так дальше идти не может... Что, вам надоел партийный билет? Покажите мне — какие планы и разрезы вы имеете по району старых выработок...

Во время просмотра геологической документации Шестакова неоднократно возвышала голос и то и дело слышалось:

— Безобразие! Как это можно допускать? Где вы видите контакт с метаморфизированными породами? Да разве это граносиенитовая интрузия? Кто у вас рудничный геолог? Как? Нет его? Да что это за партия, которая уже сейчас в процессе разведки не готовится к организации рудничной геологии...

Шестакова посетила месторождение. Ее сопровождали не только геологи, но и Сараханов. Скромный вид последнего далеко не соответствовал его героическому пиратскому прошлому. После отъезда Шестаковой как-то поздно вечером я засиделся в помещении партии за чертежами, и когда вышел, то увидел начальника, сидящего на завалинке. Он пригласил меня посидеть с ним. На мой вопрос о значении в Главенисейстрое

Шестаковой, он поведал мне удивительную и прямо фантастическую историю.

— Какое значение имеет Шестакова в Главенисейстрое? Я думаю, что ее побаивается сам Панюков. Да, да, Панюков — этот дальневосточный сатрап неизмеримо высшей марки, чем Сараханов. Поговаривают, что Панюков — любимец самого Берии...

Мне было странно слышать такие слова и оценки в устах коммуниста. Но видно, ему уже все печенки съели эти главенисейстроевские порядки...

— Так вот послушайте, что мне удалось узнать обрывками в разное время и от разных лиц после встреч с этой Шестаковой. Я вам расскажу не о Шестаковой, а о Главенисейстрое, а может быть, и о большем... Вы, я уже узнал вас за этот месяц, порядочный человек, допущенный не только к совершенно секретной работе, но и к документам “особой папки”. Вы можете все знать. По своему положению и по его будущему, как я себе представляю, да и вы себя этим будущим не обольщаете, все, что я расскажу вам, с вами же и останется...

Так вот. Тотчас после захвата Берлина нашими войсками в руках нашей разведки оказались семь мешков совершенно секретной документации, относящейся к Красноярскому краю. Вы знаете, что такое “белое пятно Эдельштейна”? Нет. В начале этого столетия Эдельштейн — крупнейший геолог Сибири — дал отрицательную характеристику будущему юга Красноярского края. Он не видел здесь никакой горнопромышленной перспективы. Восточным. Саянам и Алтаю Эдельштейн предсказывал блестящее будущее, а вот середина между этими районами, по его мнению, была безнадежна для промышленного использования. Так появилось крылатое выражение среди геологов о белом пятне Эдельштейна.

И представьте себе, что в найденных семи берлинских мешках содержалась, информация, опровергавшая прогнозы Эдельштейна. Сенсация! Но никому в голову не пришло в госбезопасности проверить силами виднейших советских геологов правдоподобность этой сенсации. Наоборот, именно всех виднейших геологов: Крейтера, Русакова, Тетяева, Шаманского, Барышева и многих других — прежде всего заподозрили в умышленной поддержке прогноза Эдельштейна, в умышленном укрывательстве богатств недр юга Красноярского края. Для кого? Конечно, для мировой буржуазии, которая-де, рано или поздно, придет “княжить и владеть” нами.

Но без специалиста-геолога все же нельзя было обойтись. Вот тут-то и появилась Шестакова. Геолог по образованию и журналист по профессии, она сразу поняла не только научную и практическую ценность берлинских мешков, но и свою личную выгоду. Она, не без помощи Бериин, сделала себя незаменимой в красноярском вопросе. Семь мешков были перевезены в Красноярск, для них отведена специальная бронированная комната, и ключ от этой комнаты хранится только у Шестаковой. Даже генерал Панюков не имеет доступа в эту комнату.

Итак, считается без всякой проверки, если не учитывать мнение самой Шестаковой, что на юге Красноярского края таятся несметные богатства, скрывавшиеся вредителями-геологами от советского народа. Значит, нужно как можно скорее эти богатства поставить на службу народному хозяйству. Площадь юга Красноярского края огромна, огромной должна быть и организация, предназначенная для освоения его. Так возник Главенисейстрой, Ну, а вредители? Их судьбу вы знаете лучше меня: Барышев застрелился, Ушинский и Шеманский умерли в тюрьмах, Крейтер, Русаков и Тетяев у Вас в ОТБ-1... Вот, кто такая Шестакова и вот что такое Главенисейстрой...

— И вы верите всей этой фантазмагории? — невольно вырвалось у меня.

— Вы по себе знаете, что в наше время не следует обсуждать подобные вопросы.

Досрочное “освобождение”

В результате двухмесячной работы на месторождении “Юлия” группой окебешников были предварительно подсчитаны запасы полезных ископаемых и дана их ориентировочная промышленная оценка. Руководство на месте на руднике, в геологоразведочной партии, в ОТБ-1 и в Главенисейстрое остались довольны нашей работой, и я в числе других был представлен к досрочному освобождению. Следовало бы слово освобождение поставить в двойные кавычки. Во-первых, освобождение оказалось не освобождением, а бессрочной ссылкой. Во-вторых, даже такое, с позволения сказать, досрочное освобождение, оказалось незаконным.

Досрочно освобожденным заключенным, в том числе и мне, было предложено явиться в местное управление МВД, где выдавались справки для получения паспорта. Но мне и еще одному бывшему заключенному таких справок не выдали, а объявили, что мы Особым совещанием осуждены на пожизненную ссылку. За что? Ответа нет.

— Идите в комендатуру и получайте там полагающиеся документы.

Вот содержание этого документа:

Штамп: СССР, Министерство государственной безопасности, управление МГБ по Красноярскому краю, 3 февраля 1951 года.

Удостоверение 22978 (взамен паспорта).

Дано ссыльному Померанцеву Владимиру Владимировичу, 1900 года рождения, в том, что он строго ограничен в правах передвижения и обязан проживать в г. Красноярске. Померанцев состоит под главным надзором в управлении МГБ и обязан явкой на регистрацию каждого 10, 20, 30 числа в спецкомендатуру МГБ. При отсутствии отметки о своевременной явке на регистрацию, удостоверение недействительно. Подписи и печать.

При получении этого удостоверения в спецкомендатуре на словах добавили:

— Неявка на регистрацию в срок или выезд за черту города будут считаться побегом.

Вот так освобождение, да еще досрочное!

Немного позднее обнаружили новые особенности нашего “освобождения”. Москва не утвердила досрочного освобождения меня и еще двух заключенных. Мы оказались настолько социально опасными преступниками, что на нас не могло распространяться положение о сокращении сроков наказания за хорошую работу в исправительно-трудовом лагере. Моих сотоварищей по досрочному “освобождению” вновь вернули в спецтюрьму для отбывания полного срока наказания. Меня же оставили “на свободе”. Главенисейстрой затеял переписку с министерством госбезопасности обо мне, в ходе которой мой срок заключения сам собой закончился, и таким образом отпала необходимость возврата меня в тюрьму. Таковую вольность в выполнении законов мог допустить только генерал Панюков — начальник Главенисейстроя— имевший “высокую руку” в Москве.

Благодаря либеральному произволу советского сатрапа я не был посажен вновь в тюрьму. Этому же произволу, как выяснилось в 1953 году, я был обязан оставлением в ссылке в городе Красноярске. Оказалось, что решением Особого совещания, которое так и не было мне предъявлено, я был осужден на пожизненную ссылку в Туруханский край. Но милостью 4-го спецотдела МВД я оказался в Красноярске, Главенисейстрой признал пригодными для себя мои знания и опыт и негласно заменил туруханскую ссылку красноярской. Но оказалось, что Главенисейстрой должен был ежегодно ходатайствовать перед Москвой о продлении разрешения для меня отбывать ссылку в Красноярске.

Нужно заметить, что первоначальные строгости о трехкратной в месяц явке на регистрацию в спецкомендатуру постепенно ослабевали. Уже в 1952 году трехкратная явка была заменена двухкратной, а потом и однократной. Я начал самовольно пересекать черту города Красноярска, делая с женой увлекательные экскурсии в район знаменитых Красноярских “Столбов”, и не подвергался наказаниям, хотя, конечно, за мной, кроме гласного надзора, осуществлялся и негласный.

После смерти Сталина политический террор начал ослабевать, 19-го марта 1956 года была ликвидирована политическая ссылка, и 12-го апреля 1956 года я был “освобожден от дальнейшего нахождения в ссылке”, как гласил документ управления МВД по Красноярскому краю № 22978 (номер моего ссыльного удостоверения 1951 года). В том же году я был полностью реабилитирован. Итак, шесть лет осуществлялось мое “досрочное” освобождение!

Вернусь немного назад. В ноябре 1950 года мне объявили о “досрочном” освобождении, но выпустить меня в город не решались до выдачи ссыльного документа, о необходимости которого я вначале еще не знал. Где же

меня содержать? В тюрьме — незаконно — нет документов. И меня поместили не в тюрьме и не в городе, а в предбаннике тюремной бани. Заколотили дверь в мойку, кое-как прибрали, сделали выход к проходной из тюрьмы, а в баню устроили второй вход. Я получил жилплощадь без прописки.

Никогда не забуду свою первую ночь “на воле” в тюремном предбаннике. Я еще днем обзавелся своим чайником, вскипятил его в тюремной проходной, заварил чай и сел на свою койку. В моей “комнате” могли помещаться койка, стол, два стула и маленький столик. Я устал от передряг сегодняшнего дня — прощания с заключенными товарищами, сдачи казенных вещей, перетаскивания вещей в предбанник. Почти не притронувшись к кружке с чаем, я прилег на койку и мгновенно уснул. Но спал очень короткое время, может быть, час или того меньше. Проснулся я от тишины. Да, да — от тишины. Раскрыл глаза и долго не мог сообразить, где я и что со мной. Главное, я не ощущал этого монотонного, никогда не прекращавшегося тюремного ночного шума, создаваемого дыханием, бормотанием, шевелением нескольких десятков спящих в одной комнате арестантов. За девять лет и четыре месяца я впервые, если не считать трех дней карцера, оказался один. Я один, еще не вполне свободен, но один. Какое это счастье — быть одному! Я встал, выпил теплый чай, разделся и лег в постель. Думал, что усну. Нет, я не мог спать. Сначала просто предавался ощущению счастливого одиночества.

Никого около меня нет, никому я не мешаю, и никто мне не мешает. Я повернулся, и скрипнула кровать, но это — мой скрип, а не чужой. Чужой скрип, даже самое спокойное дыхание раздражают. А тут я один. Временами мне казалось, что я погружаюсь в пустоту, где ничего нет, может быть, нет и меня самого, есть только ощущение

счастливого одиночества. Потом я начал прислушиваться к тишине. Нет, это не абсолютная тишина. Вот там, на улице, из проходной кто-то прошел. Вот кто-то вошел на тюремный двор. Далеко-далеко слышен лай собаки в городе и редкие гудки — это, вероятно, поезда на станции железной дороги. Я стал думать о Красноярске. Это — геометрический центр России: пять тысяч километров на восток и пять тысяч — на запад. Я еще не написал жене о своем досрочном освобождении, как будто чувствовал, что оно окажется в кавычках.

Опять возвращался к ощущению тишины. Мне нужно уснуть. Я принял йогическую позу полного спокойствия: лег на спину почти горизонтально (подушка-то моя — блин блином), слегка раздвинул ноги, протянул вдоль туловища руки, расслабил свое тело. Особенно трудно расслабить мускулатуру лица. Лежу с закрытыми глазами и стараюсь равномерно ритмично дышать: шесть счетов вдох, три счета задержка дыхания и шесть счетов выдох. Нет, не могу уснуть. Тишина. Как я ее ждал, как я о ней мечтал, и вот она пришла. И не верю себе. Заснул под утро. В ноябре поздно, часов в шесть начинает брезжить рассвет. Вот тогда я и заснул.

В ОТБ-1 служебное мое положение не изменилось. Пытались меня назначить заместителем начальника проектного отдела, но я настоял на своем и остался начальником горно-геологического отдела. В марте 1951 года приехала ко мне в ссылку жена. Месяца два, до января, я не сообщал ей о своем “освобождении”. Но нельзя было дальше оставлять тюремный адрес для своих личных писем. Я сообщил ей, что перешел на полусвободное положение. Она заявила о немедленной готовности выехать ко мне, бросить службу в Ленинграде и остаться со мной в ссылке навсегда. Я многократно уговаривал ее бросить меня совсем, рисовал тяжелые условия моей жизни, неустойчивость пребывания в

Красноярске, необходимость быть готовой к неожиданным перемещениям, а может быть, и к принудительным этапам в другие места ссылки. Ничего не помогало: она была полна решимости разделить со мной все тяготы ссыльного состояния. И вот она приехала. К тому времени я при содействии Главенисейстроля уже имел отдельную комнату в городе. Жена была довольна всем, считала, что я, как всегда, сгустил краски, преувеличил трудности. Она непрестанно утешала меня и вселяла надежду на лучшее.

— Ты знаешь, — говорила она, — после твоего ареста я каждую неделю справлялась в Ленинградском МВД: здесь ли ты, — и была рада, что мне подтверждали твое пребывание в Ленинграде. Попыталась сделать передачу тебе, но не приняли, А потом наступил тяжелый день: мне сообщили, что тебя эвакуировали, а куда — неизвестно. Но я все тяжелое время блокады думала о тебе и ждала весточки. Он такой человек, что обязательно откуда-нибудь да вынырнет — успокаивала я себя. Ну, вот, через два с половиной года я узнала, что ты жив... а теперь через девять с половиной лет мы опять вместе.

Я чувствовал на себе тяжелую ответственность за жену, добровольно обрекшую себя на ссылку. Зачем? Ради чего и ради кого? Мучаясь этим вопросом, я впервые понял, что мне мужским умом не понять этой жертвы. Я преклонялся перед этим женским подвигом, но мне казалось, что этим преклонением я больше удовлетворяю свое мужское самолюбие, свое рыцарство что ли, но ни на йоту не приближаюсь к внутреннему пониманию женской любви. И жена мне не могла объяснить своей жертвы.

— Я должна была так сделать и все... Ты знаешь, когда я приехала из Ленинграда в Москву к родным, уже имея билет до Красноярска, я спросила родных: “А может быть, мне не ехать?” И мать всплеснула руками: “Что ты такое

говоришь, Аня! Ведь ты его любишь!” А отец добавил: “Вот, вот, оставайся, а там его быстро подберет какая-нибудь...” Я рассмеялась и сказала: “Я пошутила, я еду, я верю в него”.

Подобная жертва была не единичной. Я знал жен, добравшихся к ссыльным мужьям за Полярным кругом, в дебри енисейской тайги, в приисковую глухомань. Это были времена не княгинь Трубецких и Волконских, когда они ехали к мужьям почти с комфортом:

Покоен, прочен и легок
На диво сложенный возок

.....
А секретарь отца (в крестах,
Чтоб наводить дорогой страх)
С прислугой скачет впереди...

.....
Ее в Иркутске встретил сам
Начальник городской...

Какой комфорт? Какие встречи? наших жен преследовали за мужей и на работе, и в семье, и в обществе. наших жен, и не только жен, но всю семью до третьего поколения ссылали по этапам и при малейшей “возможности” садили в тюрьмы. И все-таки, несмотря на все преследования, наши жены разыскивали мужей и ехали к ним в ссылку, которая местами была не лучше каторги. Что их влекло на эти муки? Повторяю, понять это невозможно. Быть может, их влекла внутренняя доисторическая стихийная сила женского начала, требующего всем существом своим соединиться со СВОИМ мужским началом.

Конечно, были жены, бросавшие мужей, отказавшиеся от них и предавшие. Но если даже на сотню изменниц находилась одна верная жена, шедшая за мужем в ссылку, то да здравствуют жены!

Я вышел из тюрьмы, хотя и не был на свободе. Но был счастлив. Что же это? Отказ от своих идеалов? Нет, но жизнь есть жизнь, а там посмотрим...